СЕМИНАР «РУССКИЙ XVIII ВЕК»

A PETRO PERMOTI: ПРОФЕССОРУ ПЕТРУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ БУХАРКИНУ КО ДНЮ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XVIII ВЕКА

ВЫПУСК 9

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2025

ББК (2Рос=Рус)1
Л64

Ответственные редакторы:
Н. А. Гуськов, Е. М. Матвеев, М. В. Пономарева

Л64 **А Petro permoti: профессору Петру Евгеньевичу Бухаркину ко дню семидесятилетия** / отв. ред. Н. А. Гуськов, Е. М. Матвеев, М. В. Пономарева. — СПб.: Свое издательство, 2025 (Литературная культура России XVIII века. Выпуск 9). — 164 с.
ISSN 2310-5569

Девятый выпуск периодического сборника «Литературная культура России XVIII века», посвященный 70-летию профессора Петра Евгеньевича Бухаркина, подготовлен учеными из Болгарии, Великобритании, Германии, Польши и России. В статьях сборника рассмотрены проблемы, связанные с научными интересами П. Е. Бухаркина, в том числе с историей русской литературы, языка и культуры XVIII в.

Издание предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов, а также для всех интересующихся проблемами истории русского языка, литературы и культуры.

ББК (2Рос=Рус)1

ISSN 2310-5569

© Авторы статей, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

	ОТ РЕДАКЦИИ	5
НИКОЛАЕВ С. И.	«ОДНОГО РЕМЕСЛА ЛЮДИ В ОБЩЕСТВЕ БЕЗ ЗАВИСТИ ПРОБЫТЬ НЕ МОГУТ»	7
ВИРОЛАЙНЕН М. Н.	ПОЭТЫ КАК ЧИТАТЕЛИ (К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО ЗОЛОТОГО ВЕКА)	12
ЯКОВЛЕВ В. В.	ДЖОН БЕЛЛ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ	20
ВЕСЕЛОВА А. Ю., МИЛЮТИН М. П.	К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ В ГОДЫ СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ	28
ВАЧЕВА А.	КНИЖНЫЙ РЕПЕРТУАР В ПЕРЕПИСКЕ 1762–1774 ГОДОВ ВАЛЕНТИНА ЖАМРЕ-ДЮВАЛЯ И АНАСТАСИИ СОКОЛОВОЙ (ДЕ РИБАС)	38
ТРОФИМОВ А. Е.	«ФАЕТОНОВА ПОГИБЕЛЬ» В РУССКОЙ ПАНЕГИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА	47
ТИРАСПОЛЬСКАЯ А. Ю.	ГРАФ NN КАК ПСИХОПАТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ (К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЗМА В ПОЗДНЕЙ ПРОЗЕ Н. М. КАРАМЗИНА)	55
КАРПОВ А. А.	«ПЕРСТЕНЬ» Е. А. БАРАТЫНСКОГО И «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДЬЯВОЛ» Ж. КАЗОТА	63
ПЕТРОВ А. А.	ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ШТРИХ К КАРТИНЕ	75
КОСЬЯНЕНКО Н. Е.	ПРОБЛЕМА ПУТИ В ОДЕ Г. Р. ДЕРЖАВИНА «ФЕЛИЦА»	82
МАТВЕЕВ Е. М.	«ДОРОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ» В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XVIII ВЕКА (НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ)	92

ГРИГОРЬЕВА Е. Н., ЗОЛОТУХИН В. Т.	ПРОЩАНИЕ КАК ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ (СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА «К МОРЮ»)	101
РУБИНС М.	САМЫЙ «УМЫШЛЕННЫЙ» ГОРОД БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: ПЕТЕРБУРГ И «ТЕЛЬ-АВИВСКИЙ ТЕКСТ» РУССКО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	110
ГУСЬКОВ Н. А.	ДРАМАТУРГИЯ М. Л. МИХАЙЛОВА И НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЕГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОКРУЖЕНИЯ (К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВЕСНОСТИ XVIII ВЕКА)	126
ЕКУЧ У.	ЛИТЕРАТУРА НА СЛУЧАЙ: ОБ ОДНОЙ ДЕРПТСКОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ РЕЧИ	143
ВАРДА А.	П. Е. БУХАРКИН: МОИ ПЕТЕРБУРГСКИЕ И ЛОДЗИНСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ	151
	КОНСПЕКТ КУРСА ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА, МНОГОКРАТНО ЧИТАННОГО ПРОФЕССОРОМ ПЕТРОМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ БУХАРКИНЫМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. СОСТАВЛЕН НИКОЛАЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГУСЬКОВЫМ В 1995 ГОДУ	159
	НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ ОСЬМНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ И НЕ ТОЛЬКО ОТ ЮНОШЕСТВА, ПРИБЫВШЕГО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ИЗ ДАЛЬНИХ КРАЕВ, СОБРАННЫЕ И СОХРАНЕННЫЕ МАРИНОЮ ВАЛЕРЬЕВНОЮ ПОНОМАРЕВОЙ	160
	ПРОФЕССОРУ ПЕТРУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ БУХАРКИНУ ПРИ ПУБЛИЧНОМ ЧЕСТВОВАНИИ ВЫСОКОТОРЖЕСТВЕННОГО ДНЯ ЕГО ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ В ОСЕНЬ 2015 ОКТЯБРЯ МЕСЯЦА 19 ДНЯ. НА ГОЛОС ПЕСНИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ ПОЛОЖЕНА НИКОЛАЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГУСЬКОВЫМ	163

ОТ РЕДАКЦИИ

Подготавливая к печати настоящий сборник, приуроченный к 70-летию профессора Петра Евгеньевича Бухаркина, его редакторы невольно вспоминали свою работу десятилетней давности, когда в том же составе непринужденно и весело сочиняли стилизованное игриво-шутливое предисловие к сборнику «Petra Philologica: профессору Петру Евгеньевичу Бухаркину ко дню шестидесятилетия» (СПб., 2015). С момента грандиозного празднования предыдущего — 60-летнего — юбилея Петра Евгеньевича, прошедшего на кафедре истории русской литературы Санкт-Петербургского государственного университета в лучших традициях любимой им панегирической праздничной культуры, в России, в мире и в жизни юбиляра изменилось очень многое. За начавшимся еще в 2014 г. вооруженным конфликтом на востоке Украины последовали глобальные катастрофические события — пандемия COVID-19 и продолжающаяся до сих пор большая война. В 2022 г. П. Е. Бухаркин, проработавший на кафедре истории русской литературы СПбГУ сорок лет, уволился из родного университета и переехал в Берлин к своей дочери и внукам, а семинар «Русский XVIII век», созданный им в 2007 г. в СПбГУ, превратился в независимое научное сообщество.

Живя в Берлине, Петр Евгеньевич продолжает активно заниматься научной и просветительской работой. В последние годы при его участии в качестве одного из научных редакторов вышли две коллективные монографии: «Антропонимы в русской словесной культуре XVIII века» (СПб.: ИЛИ РАН, 2023) и «Verneinung und Verschweigen: Apophatische Rhetorik in den Werken russischer romantischer Autoren, ihrer Vorgänger, Nachfolger und Antagonisten» (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2025). В новых

условиях с новым энтузиазмом он продолжает писать научные статьи и рецензии, а также читает лекции и делает доклады: очно в 2022–2025 гг. он выступал в университетах Германии (Киль, Гамбург, Грейфсвальд, Йена) и Чехии (Брно), онлайн — в университетах Болгарии (София), Словакии (Трнава), США (Рочестер). Дистанционно П. Е. Бухаркин продолжает читать лекции и вести просветительские курсы и для российской аудитории, остро нуждающейся в его здравомысленном голосе. Время от времени он возвращается в свой родной город, сохраняя определенные связи с российскими научными и образовательными учреждениями — с Санкт-Петербургской духовной академией и Институтом лингвистических исследований РАН.

Настоящий сборник продолжает основанную П. Е. Бухаркиным серию «Литературная культура России XVIII века». Его составляют публикации, которые подготовили коллеги и бывшие ученики Петра Евгеньевича, любящие, почитающие его, неоднократно им воодушевляемые и вдохновляемые, короче говоря, *a Petro permoti*. Круг авторов, как это было почти всегда в изданиях, которые готовил сам Петр Евгеньевич, включает российских и западных ученых. Всех их объединяет любовь к профессии и глубокая человеческая дружеская привязанность к юбиляру, притягательная сила личности которого и в наше катастрофическое время остается неизменной.

В силу разных причин Б. А. Ланин, М. Левитт, А. Майер-Фрااц, Л. Росси, О. Сазончик и К. Ю. Тверьянович, выразившие свое желание поздравить П. Е. Бухаркина, не смогли подготовить публикации для этого сборника, а написанная статья М. Дюринга не могла быть опубликована. Нам очень хочется верить, что, когда мы в следующий раз будем готовить юбилейный сборник в честь Петра Евгеньевича, время глобальных катаклизмов и испытаний закончится.

Сергей Иванович Николаев
(Санкт-Петербург)

«ОДНОГО РЕМЕСЛА ЛЮДИ В ОБЩЕСТВЕ БЕЗ ЗАВИСТИ ПРОБЫТЬ НЕ МОГУТ»

Писатель в XVIII в. творил не в безвоздушном пространстве, а в общении с другими коллегами по писательскому цеху. Так создавались писательская среда и собственно литературный процесс. Понятно, что такое общение далеко не всегда было дружеским, иногда резко критическим, вплоть до литературных скандалов, деликатно именуемых литературной полемикой, но редко равнодушным. Примеры дружеского общения в последней четверти века хорошо известны по стихотворным посланиям, воспоминаниям и даже по книжным посвящениям.

Но доброжелательные отношения отмечены уже в первой четверти века. Самый яркий пример — восприятие первой сатиры Кантемира, о чем он сам написал в позднейшем примечании: «Сатира сия, первый опыт стихотворца в сем роде стихов, писана в конце 1729 года, в двадесятое лето его возраста. Насмевается он ею невежам и презирателям наук, для чего и надписана была “На хулящих учения”. Писал он ее для одного только провождения своего времени, не намерен будучи обнародить; но по случаю один из его приятелей, выпросив ее прочесть, сообщил Феофану, архиепископу Новгородскому, который ее везде с похвалами стихотворцу рассеял и тем не доволен, возвращая ее, приложил похвальные сочинителю стихи <…> Тому архипастырю следуя, архимандрит Кролик многие в похвалу творцу стихи надписал <…>, чем он ободрен, стал далее прилежать к сочинению сатир» (Кантемир 1956: 62). Здесь мы видим архиепископа, архимандрита, недавнего семинариста (именно Тредиаковский принес сатиру Феофану, см. Чистович 1868: 383–385), которые очень доброжелательно

встретили сатиру юного князя. Отмечу, что это были люди из разных социальных групп и разного возраста. Увы, это был редкий случай. Благодарственные письма священников или монахов Димитрию Ростовскому за присланные новоизданные его сочинения скорее ожидаемы. В схожем благодарственном письме Стефан Яворский признавался: «Мы смотрим на это не без зависти, в этом случае позволительной» (Федотова 2004: 380). Такая позволительная зависть, в которой не стыдятся признаваться, встречается и позднее. М. Н. Муравьев писал в письме 1778 г.: «Я не буду ничего говорить: довольно, и ты, может быть, это приметила, что я завистлив. Приятно любить достоинства, хотя в другом» (Письма 1980: 341).

Конечно, в то время были и откровенно неприязненные отзывы о трудах современников. Отъявленные ругатели — «гаждатели», «хухнатели» и «хульники» — появились в русском литературном обиходе еще в последней трети XVII в. И Симеон Полоцкий, и анонимный автор сборника проповедей «Статир» последней трети XVII в. защищаются от нападок критиков Зоилов, и это были не абстрактные формулы, известны эпиграммы Евфимия Чудовского на сборник Симеона Полоцкого «Обед душевный» и его же выпады против «Псалтыри рифмотворной». Зависть упоминается в этих предисловиях множество раз. Подразумевается, что зависть вызвана невозможностью критиков сотворить что-то подобное.

В одном из примечаний ко 2-й сатире Кантемир как раз и написал: «…одного ремесла люди в обществе без зависти пробыть не могут» (Кантемир 1956: 78). Причем в данном случае у него речь шла не о поэтах, а о людях разных ремесел. (Не будем забывать, что зависть — это один из смертных грехов.) В примечании к стиху 6-й сатиры «*Что зависть тебе кладет*» Кантемир дает комментарий: «Зависть тут значит завидливых людей, которые обыкновенно ищут всякому мешать доставать себе счастье, облыгая их при тех, в коих они ищут, и стараяся опровергать все их труды» (Кантемир 1956: 152). А в стихотворении «К стихам своим» Кантемир привел пример возможной нападки:

Зависть, вас пошевеля, найдет, что я новых
И древних окрал творцов и что вру по-русски
То, что по-римски давно уж и по-французски
Сказано красивее. (Кантемир 1956: 217)

Разумеется, зависть к большим талантам предсказуема и ожидаема. Порошин в 1764 г. записал в своем дневнике: «Правда, что Ломоносов имеет многих завистников. Но сие самое доказывает его достоинство. Великие дарования всегда возбуждают зависть. До того испорчено человеческое сердце, что по большой части хулят таких, кои хвалы достойны, а хвалят таких, кои хулу заслуживают» (Порошин 1881: стб. 192). Насколько известно, Ломоносов никак на такую зависть письменно не реагировал. Почти так же писал И. И. Дмитриев о Хераскове:

Пускай от зависти сердца зоилов ноют,
Хераскову они вреда не нанесут:
Владимир, Иоанн щитом его покроют
И в храм бессмертья приведут. (Дмитриев 1967: 135)

То же было сказано о Петрове: «Школьная зависть, обыкновенная спутница великих дарований, изыскивала все средства помрачить возрождавшуюся славу Петрова, выставляя тайное удаление его из монастыря в виде ужасного преступления, которого ни талантами, ни успехами оправдать невозможно» (Петров 1818: 121).

В 1778 г. Ф. Козельский посвятил одно свое «Размышление» как раз зависти:

Любовь самих себя, как дух тиранов злобных,
Не может зреть себе в отличии подобных.
Се гнусна зависть есть, что зла к чужой хвале,
Которая в одном бывает ремесле.
……
Где зависти вредить опасность предстоит,
Там тихо проползет или безумно льстит,

Воздевши на себя лукавое притворство,
Завидна многим часть — сладчайше стихотворство.
Кого не привлекут сих прелести похвал?
И кто из нас своих в нем сил не испытал?
И музы кто любви к себе не возжелает?
Коль многих та краса соперников рождает!
Всяк в страсти день и ночь в след странствуя за ней,
Скрывается своих усерднейших друзей,
Премногие клянут любви ее отказы,
И инным суть ее в мучение заразы.
Сей нежной красоты вкушает редкий плод,
Сего светила все, чудяся, чтут восход,
И зависть тем чинит сильнейшие помехи,
Кто, чувствуя к ней жар, имеет в ней успехи. (Поэты 1972: 504–505)

Подобно Ломоносову, Державин был равнодушен к зависти и даже нашел отличный способ борьбы с нею. Он писал в записках: «…казалось Державину, что неприятна ему <П. А. Зубову> и самая пиитическая его слава; ибо часто желал он стравливать или ссорить с ним помянутого г. Эмина, который, как известно, также писал стихи. Он был до того дерзок, что в глазах фаворита не токмо смеялся, но даже порицал его стихи, а особливо оду на взятье Измаила, говоря, что она груба, без смысла и без вкусу. Вельможа, с удовольствием улыбаясь, то слушал, а Державин равнодушно отвечал, что он ни в чем не спорит; но чтоб узнать, кто из них искуснее в стихотворстве, то просит позволения напечатать особо, на свой кошт, на одной стороне листа его критику, а на другой свою оду, и предать на рассуждение публики: кому отдадут преимущество, говорил он, тот и выиграет тяжбу. Но Эмин не согласился» (Державин 1987: 360–361).

Итак, действительно, «одного ремесла люди в обществе без зависти пробыть не могут». И это в полной мере относится к писательской общине. В многочисленных обличениях завистник — это всегда фиктивная и неназванная фигура, нет и злобных признаний.

Признаваться можно только в «позволительной зависти», т. е. дружеской. Но важно и еще одно. Восходящее к Горацию обличение завистника появилось в литературе еще в последней четверти XVII в., т. е. писательское самосознание начало изменяться еще до формирования собственно новой русской литературы. В XVII–XVIII вв. зависть шла рука об руку с литературной критикой, но уже в начале XIX в. ремесла литераторов и критиков ясно разделились.

ЛИТЕРАТУРА

1. Державин 1987 — *Державин Г. Р.* Сочинения. Л., 1987.
2. Дмитриев 1967 — *Дмитриев И. И.* Полное собрание стихотворений. Л., 1967.
3. Кантемир 1956 — *Кантемир А.* Собрание стихотворений. Л., 1956.
4. Петров 1818 — *Петров Я. В.* Жизнь В. П. Петрова // Соревнователь просвещения и благотворения. 1818. № 1. С. 116–138.
5. Письма 1980 — Письма русских писателей XVIII в. Л., 1980.
6. Порошин 1881 — *Порошин С.* Записки. СПб., 1881.
7. Поэты 1972 — Поэты XVIII в. Т. 1. Л., 1972.
8. Федотова 2004 — *Федотова М. А.* О переписке Димитрия Ростовского // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 56. С. 366–384.
9. Чистович 1868 — *Чистович И.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.

Мария Наумовна Виролайнен
(Санкт-Петербург)

ПОЭТЫ КАК ЧИТАТЕЛИ (К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО ЗОЛОТОГО ВЕКА)

Русская поэзия первой трети XIX в. сформировала автономное языковое поле, резко выделенное на фоне общеупотребительного языка, вступившее с ним в отношения диглоссии, которая исключает возможность эквивалентного перевода[1]. *Ланиты*, *чело*, *перси* — не то же самое, что щеки, лицо, грудь. *Мечта*, *сон*, *лень*, *пир*, *сладострастие*, *бессмертие* в поэтическом тексте означают совершенно иное, чем те же слова во внепоэтическом контексте. Значения топосов и формул действительны только внутри поэтического мира. Стихотворный текст живет лишь в собственной языковой (и, разумеется, ритмической) оболочке. Каждое слово, принадлежащее такому поэтическому языку, закрывает пути к отождествлению сказанного с реальностью, «данной нам в ощущениях», к его миметическому пониманию. Поэтическое слово подражает другой реальности — той, что оно само же и создает.

Описание языкового поля поэзии Золотого века как самостоятельного феномена могло бы составить увлекательную лингвистическую задачу, но сейчас хочется обратить внимание на социальный аспект этого явления.

Для того, чтобы на фоне общеупотребительного языка выделился другой, обособленный от него, хотя и не утративший связей

[1] Термином «диглоссия» Б. А. Успенский обозначал наличие в рамках одной культуры двух языков, функции которых находятся в дополнительном распределении, то есть практически не пересекаются (см. Успенский 1994: 26).

с ним, необходимо существование сообщества, так же обособленного, но не изолированного от общей социальной среды. Так формируются, например, жаргоны. Ничьи индивидуальные усилия не могут обеспечить жизнеспособность подобного рода явлений — нужен общий круг, говорящий на выделившемся языке и его понимающий. Такой круг и составили лучшие поэты Золотого века. Соединявшие их личные связи — не привходящее обстоятельство, а факт, определивший портрет эпохи.

Конец XVIII и первые десятилетия XIX в. во всей Европе были ознаменованы появлением таких групп: йенские, гейдельбергские и швабские романтики в Германии, лейкисты в Англии, «сенакли» французских романтиков, филоматы в Польше… Такие сообщества не всегда и не обязательно становились формальными объединениями — они держались дружескими, духовными и творческими связями. Россия не была исключением. Но в истории нашей литературы существование аналогичного по своему значению сообщества, связанного определенными культурными приоритетами, которые при этом не совпадают с тем или иным литературным направлением (классицизмом, сентиментализмом, романтизмом), остается не эксплицированным фактом. Вероятно, так произошло потому, что сообщество, о котором идет речь, не получило ни самоназвания, ни адекватного историко-литературного определения. Его называют то пушкинским кругом, то кругом арзамасцев, но оба определения неточны: «Арзамас» был лишь кратким эпизодом творческой жизни его участников, а их общий круг начал формироваться, когда Пушкин был еще совсем ребенком. В этот круг вошли и старшие поэты «Арзамаса», и представители более молодого поколения, такие как Дельвиг, Кюхельбекер, Баратынский, Рылеев, Бестужев, Языков. И старшие, и младшие говорили о братстве поэтов. Нельзя сказать, что все они были в равной степени объединены общими дружескими связями. Какие-то отношения были близкими, какие-то — более дистанцированными. Скажем, Батюшков тесно дружил с не входившим в «Арзамас» Гнедичем, с которым Пушкина связывали хорошие, но отнюдь

не приятельские отношения. Арзамасские друзья Пушкина не стали близкими друзьями Дельвига и т. п. И все же так или иначе, прямо или опосредованно все они были связаны друг с другом, осознавали свою общность[2]. Они и составили круг авторов, определивший неповторимые черты литературной эпохи 1810–1820-х гг.

В «Старой записной книжке» Вяземского об «Арзамасе» сказано: «…это была школа взаимного литературного обучения, литераторского товарищества» (Вяземский 2012: 241). Свидетельство Вяземского нельзя недооценить. Круг арзамасцев был не только писательским, но и *читательским* кругом, в котором каждый литератор находил самых важных для него критиков — заинтересованных, благожелательных и пристрастных. Произведения читались вслух, пересылались друг другу по почте, обсуждались и устно, и в письмах, и в стихотворных посланиях[3], и в журнальных статьях. В ходу было особое словечко — «ареопаг», обозначавшее литературный суд избранных[4]. Это вырабатывало навык

---

[2] Ср., например, мемуар Вяземского: «Дельвига знавал я мало. Более знал я его по Пушкину, который нежно любил его и уважал. <…> Когда приезжал я на время в Петербург, были мы с ним, что называется, в хороших отношениях, встречаясь нередко на приятельских литераторских обедах, вечеринках» (Вяземский 2012: 260).

[3] Литературно-критический разбор в стихах, характерный для Жуковского, сформировал особую жанровую разновидность дружеского послания. См. Вацуро 1994: 22–23.

[4] Так, 1 декабря 1814 г., посылая А. И. Тургеневу свое послание «Императору Александру», Жуковский писал: «Первое условие: прочитать вместе с Батюшковым, с Блудовым, с Уваровым и, если он состоит налицо, с Дашковым. Что найдете необходимым поправить — поправляйте <…> Не знаю, удалось ли. Мне нравится, другим нравится; но надобно, чтобы вам, священный мой ареопаг, против которого нет апелляций, понравилось!» (Жуковский 2018: 296). Тургенев выполнил это условие, и Жуковский, частично приняв полученные замечания, ответил посланием «Ареопагу» (1815), черновик которого начинался стихами: «Судилищу моих стихов, / Священному ареопагу» (Жуковский 1999: 741 (примеч. А. С. Янушкевича)). 19 сентября 1815 г. Жуковский писал Вяземскому о его стихотворении «Вечер на Волге»: «Твои стихи я читал и один, и с Ареопагом — в первые два чтения они менее мне и нам понравились, нежели после; мы перечитали их с Блудовым и Тургеневым еще раз —

коллективного восприятия, не обязательно единодушного, безусловно допускавшего полемику, но формировавшего общую эстетическую шкалу ценностей.

В великих поэтах Золотого века следует признать, кроме всего прочего, великих читателей, которые передают свой читательский опыт в создаваемом по его следам поэтическом слове. Все они состоят в чтении-диалоге друг с другом, и каждый выбирает для себя главных собеседников. Отмечая художественную связь произведения одного автора с текстом другого, мы привыкли называть это влиянием и, оправдывая творческую состоятельность поэта, подчеркивать проявления его оригинальности. Точнее в данном случае было бы говорить об участии поэта в процессе непрерывного обмена читательской и авторской инициативой — в процессе, в результате которого общее литературное поле получает многоголосое, диалогическое и полифоническое звучание.

Тот же навык общения, чтения-диалога распространяется на весь поэтический мир: в круг избранных собеседников включаются те, кого давно уже нет на свете, потому что все они продолжают жить в нетленном Элизиуме поэтов, не отграниченном от общей территории творчества. В «Моих пенатах» сказано: «И мертвые с живыми / Вступили в хор един» (Батюшков 1977: 265) — таково естественное продолжение диалога с любимыми друзьями-поэтами.

Не удивительно, что общее поле поэтических текстов эпохи было повышенно реминисцентным. Отсылки к античным, европейским и русским авторам дополнялись откликами ныне

прекрасно! Они полны свежести! Природа в них дышит! Посылаю мои замечания, написанные в прозаических стихах!» (Жуковский 2018: 403). О «строгом Арзамасском ареопаге» Вяземский в октябре 1816 г. писал Блудову («Арзамас» 1994: 402), 8 ноября 1818 г. Тургеневу («Но пуще всего, пришлите ареопагские, то есть арзамасские замечания, пока я еще не совсем простыл» — «Арзамас» 1994: 378). Тем же словечком пользовалось и младшее поколение. В конце октября 1824 г., посылая П. А. Плетневу первую главу «Евгения Онегина», Пушкин просил: «Созови мой Ареопаг, ты, Ж<уковский>, Гнед<ич> и Дельвиг — от вас ожидаю суда и с покорн<остью> при<му> его решение. Жалею, что нет между ва<ми> Бара<тынского>» (Пушкин 1937: 113).

здравствующим поэтам дружественного круга. Введение цитаты или реминисценции могло быть данью уважения и признания, но могло иметь и полемический характер. Особенно интересны постоянно происходившие случаи развития или переосмысления исходного материала и даже исходного образца[5]. Благодаря диалогической природе общего пространства поэзии ее язык все время наращивал смысловой объем поэтических формул и даже отдельных слов. Но для того, чтобы распознать и оценить реплики, звучащие в этих спонтанно вспыхивающих и непрерывно длящихся поэтических диалогах, требовалась особая тонкость слуха, постоянная включенность в профессиональную деятельность или такое сопереживание ей, какое было дано Александру Тургеневу. Едва ли образованные дворянки, восхищавшиеся стихами Пушкина или Жуковского, были способны различить голоса, звучавшие в этом хоре. Конечно, поэты пушкинского круга рассчитывали на внимание читающей публики, но понимание их языка требовало такой погруженности в поэтический мир, какую можно было ждать только от совсем небольшого круга посвященных, а его наличие было главным условием, которое обеспечивало возможность поэтического собеседования. Языковую выделенность этого круга Вяземский в 1826 г. выразительно определял как «чужеязычие в толпе»[6]. Недоступность поэтического мира для «толпы» еще в 1812 г. декларировал Жуковский:

Стал верный обитатель
Страны духов поэт,

---

[5] В научной литературе это отмечалось так часто, что здесь придется ограничиться хотя бы двумя примерами анализов, посвященных этому аспекту поэтической деятельности. Так, о переосмыслении Пушкиным поэтики Батюшкова см. Проскурин 1999: 56–139; демонстрацию того, как элегический язык Баратынского строится в диалоге с элегическим языком Жуковского, одновременно и сохраняя, и переосмысляя жанровые мотивы, формулы и топику см. Золотухин 2022: 128–136.

[6] Письмо к А. И. Тургеневу от 10 июля 1826 г. (Остафьевский архив 1899: 144).

Страны неоткровенной:
Туда непосвященной
Толпе дороги нет… (Жуковский 1999: 189)

Широко известны и пушкинские высказывания на тему «поэт и толпа».

Существенно, однако, что сообщество ведущих поэтов Золотого века не было наглухо закрытым — сумел же в него войти, например, явившийся из глубокой полтавской провинции никому не известный Гоголь. Но показательно, что в своих ранних письмах к Пушкину и Жуковскому, желая подтвердить свое право на место рядом с ними, он демонстрирует не что иное, как овладение языком каждого и способность говорить на этом языке. Письмо к Пушкину отправлено Гоголем 21 августа 1831 г., в момент литературной войны с Булгариным и Гречем, в ходе которой Пушкин написал два знаменитых памфлета: «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем». В них Пушкин использовал прием мнимого восхваления, на деле дискредитирующего адресата. Гоголь пишет Пушкину, предлагая собственный вариант памфлета, построенного на том же приеме: «…на Булгарине, означено направление чисто Байронское <…>. Та же гордость, та же буря сильных непокорных страстей, резко означившая огненный и вместе мрачный характер британского поэта, видна и на нашем соотечественнике; то же самоотвержение, презрение всего низкого и подлого принадлежит им обоим. Самая даже жизнь Булгарина есть больше ничего, как повторение жизни Байрона; в самых даже портретах их заметно необыкновенное сходство» (Гоголь 1940: 204). Интуиция Гоголя была ошеломительной. Дело в том, что шестью годами раньше на сравнении Байрона и графа Хвостова построена пушкинская «Ода его сият<ельству> гр<афу> Дм<итрию> Ив<ановичу> Хвостову» (1825). Но она не была опубликована и даже, судя по отсутствию копий, не ходила в списках. Скорее всего, Гоголь ее не знал, иначе его идея выглядела бы эпигонской. Не знал — но попадание его было точным.

Спустя двадцать дней, 10 сентября, Гоголь пишет Жуковскому (знакомство с кем, как и с Пушкиным, он свел совсем недавно), жалуясь на холерные карантины, из-за которых не добраться из Петербурга в Царское Село: «Знаете ли, что я узнал на днях только <…> Что всему этому виною не кто другой, как враг честнаго креста Церквей господних и всего огражденного святым знамением. Это черт надел на себя зеленый мундир с гербовыми пуговицами, привесил к боку остроконечную шпагу и стал карантинным надзирателем» (Гоголь 1940: 207). Жуковскому, создателю фантастических балладных миров, Жуковскому, так любившему и ценившему шутку, Гоголь тоже демонстрирует свое литературное родство, свое владение его языком.

На фоне образованного общества писательский круг, о котором идет речь, выделялся не идейными установками, которые начнут определять формирование литературных группировок в 1840-е гг., а прежде всего широко понимаемым поэтическим языком, способностью к владению им и его восприятию. Именно поэтому язык в данном случае следует рассматривать как определяющий социальный фактор, объединяющий и выделяющий на фоне всех прочих ту группу авторов, которая выступила главной «пассионарной» силой литературной эпохи.

Когда Булгарин, к 1830-м гг. занявший откровенно антипушкинскую позицию, объявил поэтов пушкинского круга «литературными аристократами», у него имелись на то несомненные основания (несмотря на все возражения его оппонентов). Это прозвание было справедливым, конечно, не в силу их социального происхождения, а потому, что этот круг, достаточно узкий, служил сам для себя главнейшим читательским сообществом. И думается, что именно этим был обеспечен высочайший, почти чудесный, недосягаемый взлет поэзии Золотого века — она была обращена к читателям, обладавшим великолепным поэтическим слухом. Но этим же объясняется неунаследованность поэтической культуры Золотого века позднейшей демократизировавшейся литературной традицией XIX в., развернувшейся к прозе, заговорившей на общем с широким читателем языке.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Арзамас» 1994 — «Арзамас»: сб. в 2 кн. Кн. 2. М., 1994.
2. Батюшков 1977 — *Батюшков К. Н.* Опыты в стихах и прозе. М., 1977.
3. Вацуро 1994 — *Вацуро В. Э.* В преддверии пушкинской эпохи // «Арзамас»: сб. в 2 кн. Кн. 1. М., 1994. С. 5–27.
4. Вяземский 2012 — *Вяземский П. А.* Старая записная книжка. СПб., 2012.
5. Гоголь 1940 — *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений. Т. 10. [М.; Л.], 1940.
6. Жуковский 1999 — *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 1. М., 1999.
7. Жуковский 2018 — *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 15. М., 2018.
8. Золотухин 2022 — *Золотухин В. Т.* Элегия Е. А. Баратынского «Запустение» как диалог с В. А. Жуковским // Русская литература. 2022. № 4. С. 128–136.
9. Остафьевский архив 1899 — Остафьевский архив князей Вяземских. Вып. 3. СПб., 1899.
10. Проскурин 1999 — *Проскурин О. А.* Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999.
11. Пушкин 1937 — *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: в 16 т. Т. 13. М.; Л., 1937.
12. Успенский 1994 — *Успенский Б. А.* Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка // Успенский Б. А. Избранные труды. М., 1994. Т. 2. С. 26–48.

Владимир Васильевич Яковлев
(Санкт-Петербург)

ДЖОН БЕЛЛ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ

Джон Белл родился в 1691 г. в Шотландии, в поместье Антермони, располагавшемся севернее Глазго. Его отец, Патрик Белл, получивший теологическое образование, служил в небольшом приходе в Порт-Ментейте. Мать, Анабель Стерлинг, происходила из дворянского рода Крейгбарнетов. Старший брат Джона должен был унаследовать родовое поместье, и Беллу пришлось искать свой путь в жизни. Он выбрал профессию врача, поступил в университет города Глазго и в 1713 г. получил степень доктора медицины. И практически сразу, в 1714 г., получив рекомендательное письмо к своему соотечественнику лейб-медику Петра I Роберту Эрскину (Арескину), отправился в далекую Россию на службу к русскому царю. Сам Белл в качестве основной причины такого выбора приводит свою тягу к путешествиям: «С юных лет жило во мне сильное желание повидать чужие страны, и для удовлетворения оного, получив рекомендательные письма от некоторых достойных людей к доктору Эрскину, главному медику и тайному советнику царя Петра I, взошел я в июле 1714 г. В Лондоне на борт корабля “Просперити” и под началом капитана Эмерсона, чтобы отправиться в Петербург» (Bell 1763: 1, XIII; здесь и далее перевод с английского мой — *В. Я.*).

Вот как он описывает свою первую встречу с Петром: «В 1714 году, по моему прибытию в Кронштадт, на следующее утро на борт прибыл “Царь”, как его тогда называли, в компании доктора Эрскина, его главного врача и переводчика при данной оказии. Он направился прямиком в каюту капитана и задал ему множество вопросов касательно шведского флота. Позавтракав матросской едой — хлебом и сыром, он выпил стакан эля, который настолько

ему понравился, что он заказал всю партию. Осмотрев все судно и снасти, очень хвалил то, что каюта находилась вровень с мостиком. Он поднялся в тот день очень рано, так как прибыл из Петербурга на десятивесельном пинасе, и, побыв около часа на острове, вернулся на том же пинасе[1]. Он располагал достаточным количеством средств передвижения, готовых доставить его куда угодно в любое время дня и ночи. Лодка всегда была наготове у самых дверей, а ее экипаж квартировал во дворе самого дворца. Кроме того, всегда наготове была двуколка» (National Library 1779: 2).

Так началось двадцатилетнее пребывание Белла в России. Восемь лет (1714–1722) он был на службе при дворе Петра Первого и двенадцать (1734–1746) представлял Британию во время правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Принимал участие в нескольких русских посольствах — в Китай и Персию, был участником Персидского похода, посещал Османскую империю с дипломатическими поручениями. Уже после возвращения на родину он издал книгу, в которую вошли рассказы о его поездках. Она была переведена на ряд языков, в том числе на русский, и заняла достойное место в историографии петровской эпохи (Bell 1763; Белевы путешествия 1776; Яковлев 2023).

Дж. Белл является также автором еще одного небольшого сочинения «Разнообразные рассказы о Петре Первом», куда вошли заметки о Петре, его окружении, различных событиях, свидетелем которых Белл был или о которых слышал от своих друзей и знакомых. Сочинение не было опубликовано и практически не привлекало внимания исследователей. О его существовании лишь кратко упоминает английский историк Э. Кросс (Кросс 2013: 134), а также российская исследовательница Т. А. Лаптева (Лаптева 1994: 172–173).

Рукопись сохранилась в Национальной библиотеке Шотландии (Глазго) и датирована 10 сентября 1779 г. (National Library 1779) с отметкой места создания — Антермони. Вероятно, эта дата указывает

[1] Пинас — парусно-гребное судно, распространенное в Северной Европе.

на завершение работы (Беллу в это время было уже 88 лет). Сами рассказы, скорее всего, записывались ранее, причем не один год. «Через много лет после возвращения г-на Белла из путешествий он забавлял своих друзей рассказами о виденном, освежая с помощью простого дневника события и наблюдения», — писал его современник (Narrative of a Voyage 1817). В 1780 г. Белл умирает, а рукопись так и остается неопубликованной.

«Разнообразные рассказы о Петре Первом» — это небольшие, иногда совсем краткие без заголовков тексты, в первую очередь посвященные Петру Первому. Некоторые из них были опубликованы автором настоящей статьи с подробными комментариями и с привлечением дополнительных источников — о судьбах сибирского губернатора князя Матвея Петровича Гагарина, известного в свое время казака Ивана Матвеевича Краснощекова, ближайшего сподвижника Петра Александра Даниловича Меншикова, о прибытии и нахождении российских войск во главе с Петром в Дании в 1716 г. (Яковлев 2024а). Также подробно был проанализирован рассказ Белла о Хивинском походе 1717 г. князя А. Бековича-Черкасского (Яковлев 2024б).

В данной статье впервые публикуется еще ряд заметок из сочинения Белла, посвященных характеристике Петра I. Учитывая ограниченность объема, были выбраны небольшие тексты, не требующие специального обширного комментирования. В настоящее время ведется работа над книгой, посвященной Дж. Беллу, в которую войдет полный текст его сочинения с необходимыми комментариями.

* * *

Притворяться, что мне по силам изобразить характер Петра Первого, было бы слишком. Это гораздо более сложное дело, чем просто привести краткие заметки того, чему мне случилось самому быть свидетелем, без всякого замысла или порядка, так, как они запомнились.

На острове, называемом «Петербург», где был замок[2], здание Сената и всех Коллегий, а также суд, стояла небольшая деревянная часовня, освященная в честь Святой Троицы, сюда по праздникам приходил на службу Царь и многие знатные особы[3]. В один из таких дней мне случилось оказаться у ее врат в большой толпе, а внутри места не было вовсе. Я увидел, что Царь стоит рядом с клириком, скороговоркой читавшим псалмы. Петр наконец взял Библию из его рук, с большим чувством продолжил чтение и читал до окончания службы. Мне сказали, что это было для него обычным делом, и когда клирики или даже сам священник читали невнятно, он забирал у них книгу и читал сам, и это возымело полезное действие: клирики научились читать разборчиво.

Он не пропускал вниманием и иностранных коммерсантов, и корабельщиков, с которыми свободно разговаривал на разные темы, и никто не покидал стол, за который решал сесть Его Величество. При одной из таких оказий он спросил одного англичанина, какое содержание у принца Уэльского. Ответ был «сто тысяч фунтов». Переведя фунты в рубли, царь сказал: «большие деньги» и, повернувшись к царице, которая оказалась в то время поблизости, спросил: «Катя, ты слышала, сколько получает принц Уэльский каждый год? Мне казалось, мы держим обильный стол, а расходы редко превышают 30–40 тысяч рублей в год, сумма поистине небольшая, но нужно учесть, что у Двора обширные владения, которые поставляют различные припасы»[4].

---

[2] Подразумевается Петербургская (Городская) сторона и Петропавловская крепость.

[3] Небольшой деревянный Свято-Троицкий собор некоторые время был главным собором Петербурга, в нем, с участием Петра, проходили торжественные государственные богослужения, праздновались победы в Северной войне.

[4] Упоминается Георг-Август (провозглашен наследником престола с присвоением титула принца Уэльского в 1714 г.), в 1727 г. стал королем Георгом II, утратив титул принца.

Царь не употреблял табак ни в каком виде. Хотя он и приносил значительную часть дохода, но царь говорил, что это забава для бездельников. Он также не интересовался ни спортом, ни охотой, хотя вообще русские джентльмены очень любят эту забаву. Он отдавал свободное время занятиям более полезным, нежели преследование невинных созданий, и поэтому у него было всего несколько бесполезных собак и лошадей. Что касается кофе, чая и шоколада, он иногда употреблял их, хотя и говорил, что это все роскошь и вещи бесполезные[5].

В 1717 г. царь посетил Голландию и Францию. Луи XV в то время был очень мал. Петра приняли со всеми почестями, должными при посещении великого монарха. Юный король встретил его у подножия лестницы, и после обычной приветственной церемонии царь взял его на руки и отнес его наверх в апартаменты, что немало смутило юного короля, хотя вскоре он оправился от потрясения[6]. Некоему адмиралу приказано было всюду сопровождать Царя и показывать ему все интересное в Париже. Похоже, у этого адмирала была слабость к нарядам, и он ежедневно надевал новый костюм, пока наконец его гардероб не истощился, и он вынужден был надеть камзол, который уже надевал ранее. Царь заметил, что рад видеть, что портной адмирала наконец-то сшил ему что-то по фигуре.

В те дни дома были в основном деревянные, и пожары не были редкостью. На этот случай имелся приказ всем генералам и офицерам-

---

[5] Некоторые утверждения Белла расходятся с известным мнением, что Петр был любителем табака и кофе, распространению которых в России активно способствовал.

[6] Об этом поступке писал и де Сен-Симон, который был его свидетелем: «Удивительно было видеть, как царь берет короля на руки, поднимает и целует, и король при его малолетстве, притом совершенно к тому же не подготовленный, ничуть не испугался» (Сен-Симон 1991: 360). Любопытно, что он совершенно иначе описывает реакцию семилетнего Людовика XV.

субалтернам[7] при звуках сигнального колокола и барабана являться <к месту пожара> со своими солдатами, и Петр сам прибывал среди первых, отдавал необходимые во время этих бедствий приказания, и благодаря такому его благотворному участию многие семьи бывали спасены от полного разорения. Это случилось ночью, во время одного из таких несчастий. Пожар возник недалеко от дома моего друга, я отправился помочь, чем смогу, и в толпе встретил доктора <нрзб>, одного из пажей, который в большой спешке спросил, не видел ли я Царя, так как он потерял своего хозяина или, скорее, хозяин потерял пажа, что показывает, как мало он заботился о собственной безопасности, ведь любой решительный убийца мог бы легко лишить его жизни и исчезнуть в толпе. Это представляется крайне необычным обстоятельством, учитывая те неизбежные суровые меры, к которым он прибегал в ходе своих реформ и проектов, создавая армию и флот ценой огромных расходов. А более всего непопулярным было строительство новых городов и поселений — таких, как Санкт-Петербург и Кронштадт, расходы на которые затруднительно счесть.

Хорошо известно, что главной страстью царя было мореходство в любых его видах. Ко времени его кончины его флот, полагаю, хоть и не такой большой, был в лучшем состоянии и во всех отношениях лучше оснащенным, нежели впоследствии. Что же касается армии, не думаю, чтобы ее численность превышала 40 или 50 тысяч пехоты и 10 тысяч драгун, не считая гарнизонных войск, но это все были ветераны под командованием опытных офицеров, и им была придана хорошо оснащенная артиллерия.

Он часто говорил о том, что опасается мощи Турецкой империи больше, чем других своих соседей, и в то время у него были все резоны говорить так. Если бы он дожил до наших дней, он бы изменил свое мнение, поскольку, как я убежден, Оттоманская Порта видела в России самого мощного соседа как на суше, так и на море.

---

[7] Субалтерн — младший офицер, соответствовал прапорщику или поручику.

Упомянув о суровых мерах, я должен отдать Царю должное и рассказать об одном замечательном событии, делающем ему честь. Через двадцать лет после его смерти, во время правления Императрицы Анны[8], как-то вечером я был с визитом у своего старого друга, Генерал-лейтенанта и члена Военной коллегии П. В. И. [9], который участвовал в Шведской войне и был одним из первых солдат Батюшки Петра. Он рассказал мне, что в тот день с ним ужинала компания старых офицеров, назвав при этом нескольких моих знакомцев. Вспомнив в очередной раз битвы, в которых сражались, они стали сравнивать прошлые времена с нынешними и, рассуждая друг с другом совершенно свободно, вспомнили множество случаев, когда Петр был жесток, но не смогли вспомнить ни одного человека, который был бы наказан незаслуженно. Сильное доказательство его справедливости, к тому же от людей, которые хорошо были знакомы с его делами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белевы путешествия 1776 — Белевы путешествия чрез Россию в разные Асиатские земли, а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь. Перевел с франц. Михайло Попов. Ч. 1–3. СПб., 1776.
2. Кросс 2013 — *Кросс Э.* Английский Петр: Петр Великий глазами британцев XVII–XX вв. СПб., 2013.
3. Лаптева 1994 — *Лаптева Т. А.* «Государство то всегда богато, котораго жители богаты»: «Просил нас аглинский купец…»: документы из архивов России и Англии. 1714–1715 гг. // Исторический архив. 1994. № 3. С. 172–173.
4. Сен-Симон 1991 — *Сен-Симон А.* Мемуары. Полные и доподлинные воспоминания герцога де Сен-Симона о веке Людовика XIV и Регентстве. Избранные главы. Кн. 2. М., 1991.
5. Яковлев 2023 — *Яковлев В. В.* Джон Белл и его записки о службе в России в первой половине XVIII в. // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 118. СПб., 2023. С. 352–362.

---

[8] Белл ошибается: спустя двадцать лет после смерти Петра (1745 г.) правила не Анна Иоанновна, а Елизавета Петровна.

[9] Вероятно, речь идет о Петре Васильевиче Игнатьеве, который начал службу еще в 1700 г.

6. Яковлев 2024а — *Яковлев В. В.* Джон Белл и его «Разнообразные рассказы о Петре Первом» // Труды Государственного Эрмитажа. Т. 122. СПб., 2024. С. 306–316.
7. Яковлев 2024б — *Яковлев В. В.* Свидетельства Джона Белла о князе Александре Бековиче-Черкасском и его походе в Хиву // Кавказология. 2024. № 2. С. 188–201.
8. Bell 1763 — *Bell J.* Travels from St. Petersburg in Russia to diverse parts of Asia. Vols. 1–2. Glasgow, 1763.
9. Narrative of a Voyage 1817 — Narrative of a Voyage in His Majesty's late Ship Alceste to the Yellow Sea, along the Coast of Corea and through its numerous hitherto undiscovered Islands to the Island of Lewchew, with an Account of her Shipwreck in the Straits of Gaspar. By John M'Leod, Surgeon of the Alceste // Quarterly Review. 1817. April–Juli. Vol. 17. P. 464.
10. National Library 1779 — National Library of Scotland. Carmichael and Gordon's Papers. MS. 109. F. 10–20.

Александра Юрьевна Веселова,
Михаил Павлович Милютин
(Санкт-Петербург)

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИИ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ В ГОДЫ СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

Деятельность российской православной миссии на территории Восточной Пруссии[1] в годы Семилетней войны до недавнего времени могла считаться одним из незаслуженно забытых сюжетов российской истории XVIII в. Временная, но при этом продолжительная оккупация Россией крупной европейской области оказалась довольно уникальным явлением и потребовала незаурядных действий как светских, так и церковных властей по организации жизни местного населения и оказавшихся на территории Восточной Пруссии российских военных и штатских лиц. В силу вполне осознаваемой самими властями важности этих действий, они находились в центре внимания высших российских государственных учреждений, вследствие чего возникло обширное делопроизводство, отложившееся в различных архивохранилищах и дающих богатый материал для изучения. Немаловажным представляется также и то, что жизнь Восточной Пруссии под российской властью, в контексте грандиозных событий Семилетней войны, нашла отражение в ряде мемуарных текстов, в частности, в подробных и давно и хорошо известных воспоминаниях А. Т. Болотова. Наконец, тот факт, что значительная часть региона в новейшее время стала частью современной России (и, в том числе, находится под управлением Русской православной церкви), казалось бы, должен

[1] Королевство Пруссия с центром в Кенигсберге.

был сделать обращение к различным аспектам российского пребывания здесь в XVIII в. особенно актуальным. Увы, за последние десятилетия исследований деятельности прусской православной миссии почти не было. Лишь в недавнее время стали появляться работы, в которых ее истории уделяется центральное место[2].

Поскольку этот сюжет представляется перспективным и неизбежно будет привлекать к себе внимание исследователей, мы решили остановиться на нескольких его аспектах, имеющих, на наш взгляд, первостепенное значение.

Прежде всего стоит рассмотреть вопрос об источниках наших сведений. Их значительный массив отложился в бумагах канцелярии Св. Синода (РГИА. Ф. 796. Оп. 39. 1758 г. — Оп. 43. 1762 г.). Дореволюционные печатные издания описей бумаг синодальной канцелярии (Описание 1868–1914) представляют собой заголовки с аннотациями или кратким пересказом отдельных дел и позволяют, подчас весьма подробно, воссоздать канву событий, отразившихся в официальном документообороте. Впрочем, неоднократно отмечалось, что для анализа синодальных бумаг недостаточно использовать только эти печатные описи, необходимо обращаться к документам из дел (Зарембо, Попова 2021: 163–164). Кроме того, от интересующего нас времени была издана опись только за 1759 г.[3]

Между тем, материалы деятельности миссии отложились и в других источниках. Особенно хотелось бы отметить бумаги Кенигсбергской канцелярии, представляющие собой массив делопроизводственной документации российской губернаторской

---

[2] Попытку изложить последовательную историю и различные частные аспекты деятельности миссии см. Бирюков 2024. Кроме того, один из авторов этой статьи ранее попробовал оценить значение миссии в духовном и религиозном становлении личности А. Т. Болотова (см. Miliutin 2023).

[3] См. Описание 1910. К сожалению, история прусской православной миссии в книге Г. О. Бирюкова рассматривается на основе лишь этой описи, с выборочным использованием отдельных дел за 1759 и другие (1760–1762) гг. И привлечением официальных синодальных постановлений (см. Полное собрание 1912).

канцелярии Восточной Пруссии (РГАДА. Ф. 25. Оп. 1). В частности, содержащееся в этом фонде дело «О русских церквях, священно и церковно-служителях, находившихся в Пруссии» (РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. 1094 л.)[4] заключает в себе весьма значительный комплекс документов, которые отчасти дублируют, отчасти дополняют синодальные бумаги и предоставляют многочисленные сведения о взаимоотношениях местных светских властей с членами церковной миссии и о ее обустройстве и деятельности. Именно здесь мы находим прошение первого российского губернатора Восточной Пруссии Н. А. Корфа на имя императрицы от 22 августа 1758 г. [5] о необходимости направить в Кенигсберг, Пиллау и Мемель церкви и священников (РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 31). Собственно, с этого документа и следует начинать историю местной православной миссии, организация которой в России затянулась почти на два года.

В этих материалах можно обнаружить информацию о непростых отношениях между российскими губернаторами и руководителями церковной миссии. Так, первый ее глава, архимандрит Ефрем, прибывший в Кенигсберг вместе с основным составом миссии 5 июня 1760 г., через полтора месяца, в ответ на просьбу губернатора приступить к богослужениям, направил Корфу «требование» предоставить под православные церкви местные лютеранские кирхи, если лучше домов нет, с предупреждением, что только тогда члены миссии и начнут вести службы (РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 44, получено в губернаторской канцелярии 20 июля 1760 г.). В тот же день Ефрем написал донесение в Синод, в котором отметил, что уже предложенные Корфом помещения по разным причинам не подходят для православной церкви и ему пришлось

---

[4] Помимо этого дела в фонде Кенигсбергской канцелярии можно обнаружить и другие единицы хранения, содержащие материалы о деятельности прусской православной миссии, вплоть до ее ликвидации в августе–сентябре 1762 г. («Об отправлении из Пруссии церквей, утвари и церковнослужителей в Россию» — РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 491. 38 л.).

[5] Сам Корф прибыл в Кенигсберг 30 июня 1758 г.

остановиться на Штайндаммской кирхе (Описание 1910: 310). Через два дня Корф в ответе «высокопреподобному отцу» перечислил все те же варианты размещения православной церкви в Кенигсберге, последним из которых была именно Штайндаммская кирха св. Николая (РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 45, от 22 июля 1760 г.), которая и была освящена Ефремом 3 сентября 1760 г. Даже подробное и весьма торжественное описание этой церемонии (РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 60–61) содержит возможный намек на трения между губернатором и архимандритом. После завершения освящения Корф, славящийся своей щедростью и любовью к празднествам и приемам, хотел «трактовать» у себя в Кенигсбергском замке присутствовавшую на церемонии местную знать, штаб- и обер-офицеров, однако Ефрем «испросил дозволения» пригласить всю публику к себе. Так что около 50 человек во главе с губернатором вынуждены были в этот день угощаться у архимандрита.

Трудно сказать, насколько непростые отношения с Корфом повлияли на быстрое устранение Ефрема с поста главы миссии, но примечательно, что в ноябре 1760 г. Ефрем посчитал нужным написать губернатору отдельное письмо, в котором сообщил о своем конфликте с членом миссии, иеромонахом Гавриилом, жаловался на его непослушание и просил содействия в удалении Гавриила из Кенигсберга в Мемель (РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 73). По-видимому, Ефрем решил, что донесения на Гавриила в Синод (от 30 октября 1760 г.), в котором он обвинил иеромонаха «в непослушаниях, своевольствах и досадах и в неотправлении священнослужения» недостаточно, и ему надо заручиться в этом вопросе поддержкой Корфа. Между тем, именно Гавриил стал главным (хотя и не единственным) доносчиком в Синод на Ефрема, сообщившим о его блудном сожительстве с прислугой. Все эти подробности, как и последующее события, связанные с делом Ефрема (для проведения расследования в декабре 1760 г. в Кенигсберг был направлен архимандрит Тихон, по результатам деятельности которого Ефрем остался «под подозрением» и в апреле 1761 г. был под конвоем

выслан в Россию; до января 1762 г. он содержался в Риге, а в феврале того же года особым определением Синода был назначен архимандритом суздальского Спасо-Евфимиева монастыря), можно почерпнуть из дела «О содержании в Риге архимандрита Ефрема, находившегося в Кенигсберге», находящегося в бумагах совершенно другого учреждения (РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1995. 73 л.).

Печальная судьба первого руководителя прусской православной миссии могла бы восприниматься как следствие внутренних раздоров среди ее участников (тем более, что наиболее тяжкое обвинение в итоге с Ефрема было снято Синодом по недостаточности улик), но у нас по этому вопросу есть свидетельство совершенно иного источника. В своих воспоминаниях А. Т. Болотов пишет: «…прислан был к нам архимандрит по имени Ефрем для начальствования над всем армейским духовенством и долженствующим иметь пребывание свое у нас в городе. Но сия духовная особа далеко не соответствовала общему нашему желанию, но сколько хорошую фигуру ни представляла с начала своего приезда, столько стала обращаться потом в бесславие наше и в позор духовенству, ибо не успел он несколько недель у нас пообжиться, как стали видать его ездящего в карете с непотребными женщинами и нередко упивающегося уже слишком крепкими напитками. Чрез сие потерял он скоро все уважение и побудил губернатора нашего, донося о том, испросить на его место другого и благоразумнейшего» (Болотов 2022: 341–342). Даже если предположить, что эта характеристика Ефрема не основывается на личном впечатлении мемуариста, то придется признать: в ближайшем окружении кенигсбергского губернатора, в которое входил Болотов, репутация у архимандрита была вполне однозначной. Обращает на себя внимание также и то, что Болотов связывает снятие Ефрема с должности с действиями Корфа.

Вообще мемуары Болотова, несмотря на редкое обращение к деятельности миссии, позволяют дополнить ее историю, реконструируемую по документальным источникам, некоторыми немаловажными суждениями. Анализ болотовских воспоминаний,

относящихся к кенигсбергскому периоду его жизни, показывает, что этот раздел мемуаров в основном не имел под собой документальных источников (дневниковые записи, письма), а был написан по памяти[6]. Тем более важно для нашей темы, что среди немногочисленных выявляемых в этом разделе ошибок, которые относятся, главным образом, к сфере абсолютной хронологии, две из четырех наиболее существенных связаны с церковной миссией: архимандрит Ефрем приехал в Кенигсберг не летом 1759 г.[7], а летом 1760 г.; Тихон сменил его не осенью 1760 г.[8], а весной 1761 г. Воспоминания о миссии практически стерлись из памяти Болотова, что, по-видимому, означает, что они изначально занимали в ней весьма незначительное место, несмотря на то что для Болотова кенигсбергский период был временем интенсивных нравственных и религиозно-философских исканий, общение его с членами и руководителями миссии не могло быть ничем затруднено, а деятельность миссии явно играла значительную роль в жизни россиян, оказавшихся в Кенигсберге. Очевидно, что составлявшие миссию духовные особы не соответствовали интеллектуальным запросам молодого Болотова, а контакты не выходили за рамки официальных и ритуальных действий.

Необходимо остановиться еще на одном аспекте организации миссии. В те два с половиной года, которые прошли от занятия российской армией Восточной Пруссии (в январе — феврале 1758 г.) до ее прибытия (в июне 1760 г.) религиозные нужды православных россиян удовлетворяли полковые церкви и полковые священники. Хотя тягостные, а подчас и анекдотичные обстоятельства, связанные с затянувшимся процессом организации миссии, достаточно

---

[6] Подробнее см. Милютин 2020: 50–52.

[7] В приведенном выше отрывке (Болотов 2022: 341–342).

[8] При описании освящения Штайндаммской кирхи, которое проводил не Тихон (как у Болотова), а Ефрем (Болотов 2022: 438–440). Тихону, в отличие от Ефрема, Болотов дает вполне позитивную характеристику: «…муж прямо благочестивый, кроткий, ученый и такой, который не делал стыда нашим россиянам, но всем поведением своим приобрел почтение и от самых прусских духовных» (Болотов 2022: 439).

подробно и красочно описываются в синодальных бумагах (см. Бирюков 2024: 89–130), остается вопрос о причинах возникновения такой ситуации.

Постоянно выходящие в документах на первый план трудности с подбором кадрового состава (десяток священнослужителей и полтора десятка церковнослужителей) и присылкой богослужебной утвари (три церкви) вряд ли можно признать определяющими, тем более что все организационные вопросы решались на самом высоком уровне (рескриптами Конференции и постановлениями Сената и Синода). Иногда преувеличенное, на наш взгляд, внимание уделяется сезонным и транспортным трудностям (см. Бирюков 2024: 110). Например, прекращение навигации на Балтийском море в осенне-зимний период отнюдь не делало «бесполезными» постоянные запросы Корфа в Синод о скорейшей присылке миссии в октябре — ноябре 1759 г. Многие ее члены, как и служители губернаторской канцелярии (не говоря уже о войсках и войсковых обозах) добирались до Пруссии сухим путем[9]. Утверждение, что зимой проблема отсутствия постоянно действующих храмов становилась менее острой из-за того, что большинство полков (со своими церквями и священниками) размещались в прусских городах на зимние квартиры (см. Бирюков 2024: 93) тоже представляется преувеличенным. На зимние квартиры российская Заграничная армия располагалась, главным образом, на Нижней Висле, а отнюдь не в окрестностях Кенигсберга, да и те же запросы Корфа недвусмысленно свидетельствуют, что к началу зимнего сезона потребность в постоянной церковной миссии отнюдь не ослабевала.

Тем не менее, в синодальном постановлении от 2 июля 1759 г., содержащем ряд ходатайств к Конференции, среди прочего, утверждалось, что в Кенигсберге, Пиллау и Мемеле публичные богослужения вполне могут осуществляться в имеющихся там свободных полковых церквях. Действительно, если обратиться

[9] Сменивший Ефрема архимандрит Тихон также добирался до Кенигсберга зимой, в начале 1761 г.

к материалам уже не раз упомянутого дела «О русских церквях…» из бумаг Кенигсбергской канцелярии, то мы увидим, что свободные полковые церкви в прусских городах в это время были[10]. Дело в том, что во второй половине 1758 г. Корфу через главнокомандующего Заграничной армией В. В. Фермора[11] удалось добиться присылки в Пруссию из Риги шести тыловых полковых церквей, которые располагались в 1759 г. следующим образом: одна в Мемеле, две в Кенигсберге, одна в Эльбинге и еще две в Мариенвердере (РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 251; реестру церквей предшествует обширная предыстория вопроса, в том числе переписка Корфа и Фермора по этому поводу на немецком языке)[12]. Более сложной проблемой было обеспечение этих церквей священниками, что Фермору и Корфу не удавалось сделать на постоянной основе несмотря на использование ими различных возможностей (например, в начале 1760 г. Корф смог получить несколько полковых священников, оставшихся после расформирования Обсервационного корпуса — РГАДА. Ф. 25. Оп. 1. Д. 25. Л. 276). Напомним также, что именно Корф первым подал идею о присылке в Кенигсберг православной миссии и затем в течение почти двух лет добивался реализации этого плана. Представляется, что образ действий этих

---

[10] Бирюков (2024: 99) ошибочно полагает, что Синод пытался в этом отношении ввести Конференцию в заблуждение.

[11] Генерал-аншеф Фермор, при завоевании им Восточной Пруссии в начале 1758 г., был назначен генерал-губернатором новой провинции и, по-видимому, продолжал сохранять этот статус на протяжении всего времени верховного командования Заграничной армией (до мая 1759 г). Хотя генерал-поручик Корф по своему политическому влиянию даже превосходил Фермора, но уступал ему по чину и должности (кенигсбергский губернатор). Это наложило отпечаток на их деловые отношения: Корф неоднократно просил у Фермора помощи по делам управления Восточной Пруссией, а Фермор считал своим долгом эту помощь оказывать. В дальнейшем, по мере смены главнокомандующих и кенигсбергских губернаторов, характер взаимодействия между занимающими эти посты людьми неоднократно менялся.

[12] Болотов также отмечает, что до прибытия церковной миссии россияне в Кенигсберге «довольствовались» полковыми церквями (Болотов 2022: 438).

немцев-лютеран, волею судьбы и благодаря своим способностям ставших высокопоставленными российскими сановниками и настойчиво заботившихся об удовлетворении религиозных потребностей православных во вверенных им подразделениях и областях (вероятно, не столько из собственно религиозных соображений, сколько для соблюдения законов, государственного и нравственного порядка) весьма характерен для рассматриваемой эпохи[13].

Таким образом, на наш взгляд, основной причиной неоправданно длительной организации прусской православной миссии стала очевидная незаинтересованность в ней подавляющего большинства представителей российской стороны: от участников миссии (многие из которых при первой возможности и под любым предлогом стремились избежать заграничной командировки) до высших столичных властей. Члены Синода, как мы видели, явно считали достаточными для удовлетворения религиозных нужд россиян, оказавшихся за пределами Отечества, имевшиеся в Пруссии полковые церкви и их священников, то есть завуалированно признавали миссию ненужной. Если бы Конференция периодически не побуждала Синод предпринимать те или иные действия, то организация миссии и вовсе бы не состоялась. Имея в виду длительный срок этой организации, заинтересованность в миссии императорской власти и Конференции тоже следует признать незначительной. Отчасти это можно объяснить сознанием временности российского пребывания в Восточной Пруссии[14]. Впрочем, для представителей Русской церкви и участников миссии должны были иметь значение другие мотивы, но попытка

---

[13] Не менее характерно то, что оба в исторических работах последующего времени не избежали обвинений в пренебрежении русскими интересами в угоду немцам.

[14] Примечательно, что Болотов, вряд ли когда-либо имевший представление о планах российских властей на Восточную Пруссию в годы Семилетней войны, определенно связывал появление в Кенигсберге миссии и постоянного православного храма с намерением удержать за собой эти земли «на должайшее время и, может быть, навек» (Болотов 2022: 438).

разобраться в них выходит за рамки данной работы. Эта же низкая заинтересованность привела и к невысокому уровню подготовки и нравственного состояния лиц, отправленных в составе миссии за границу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бирюков 2024 — *Бирюков Г. О.* Православие в Пруссии: век XVIII. СПб., 2024.
2. Болотов 2022 — *Болотов А. Т.* Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. Т. 2. Кн. 1. СПб., 2022.
3. Зарембо, Попова 2021 — *Зарембо Н. Г., Попова М. Д.* Научно-справочный аппарат к документам фонда Канцелярии Синода Российского государственного исторического архива // Вестник Исторического общества Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. №3 (8). С. 161–170.
4. Милютин 2020 — *Милютин М. П.* Инструменты памяти: лаборатория мемуаров Андрея Болотова // AvtobiografiЯ: Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture. 2020. № 9. С. 45–64.
5. Описание 1868–1914 — Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего синода: в 50 т. СПб., 1868–1914.
6. Описание 1910 — Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего синода. Т. 39. СПб., 1910.
7. Полное собрание 1912 — Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. Царствование государыни императрицы Елизаветы Петровны. Царствование государя императора Петра Феодоровича. Т. 4. 1753 — 28 июня 1762 гг. СПб., 1912.
8. Miliutin 2023 — *Miliutin M. P.* The Everyday Religious Life of a Russian Officer during the Seven Years War: Andrei T. Bolotov and the Activities of the Russian Orthodox Mission in Prussia // Russia, Europe and the World in the Long Eighteenth-Century. Proceedings of the Xth International Conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia / ed. by R. Baudin, A. Evstratov, P. Keenan, V. Rjéoutski. Strasbourg, 2023. P. 183–196.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

РГАДА — Российский государственный архив древних актов (Москва)
РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)

Ангелина Вачева
(София)

КНИЖНЫЙ РЕПЕРТУАР В ПЕРЕПИСКЕ 1762–1774 ГОДОВ ВАЛЕНТИНА ЖАМРЕ-ДЮВАЛЯ И АНАСТАСИИ СОКОЛОВОЙ (ДЕ РИБАС)

Переписка 1762–1774 гг. французского философа-самоучки Валентина Жамре-Дюваля и камер-юнгферы Екатерины II Анастасии Соколовой, в замужестве де Рибас, дает исключительно богатые и разнообразные сведения о интеллектуальной жизни Европы 60–70-х гг. XVIII в. И особенно о культурных взаимоотношениях России с европейскими странами. П. Е. Бухаркин был одним из первых, кто предоставил мне в 2013 г. трибуну в рамках руководимого им семинара по русской литературе XVIII в., чтобы огласить первые результаты научного проекта по изучению этой забытой корреспонденции[1].

Помимо множества исторических, географических, политических и других сведений, помимо большого количества упоминавшихся в письмах артефактов из области нумизматики и разных видов искусств (музыки, театра, скульптуры, живописи, графики, архитектуры), одна из главных тем для комментария в письмах обоих корреспондентов — это книги, литературные и научные тексты, читаемые в настоящем или прочитанные, рекомендованные для серьезного или развлекательного (но полезного с точки зрения классицизма) чтения, иллюстрирующего высказанное суждение и проч. Книги — негласные «послы» Российской империи, которые своей

[1] Исследовательский проект в рамках сотрудничества между Софийским университетом им. св. Климента Охридского и Университетом Саарланда при участии проф. Х.-Ю. Люзебринка и проф. А. Вачевой (2012–2024). В 2020–2024 гг. проект получил поддержку Gerda Henkel Stiftung.

проблематикой, оформлением, полиграфией говорят без лишних объяснений о достижениях страны на пути ее модернизации.

Репертуар чтения и эрудиция бывшего крестьянина[2], превратившегося в «австразийского философа» Дюваля производит неизгладимое впечатление на читателя. Вне всякого сомнения, можно сказать, что это «книжный человек», который посвятил свою жизнь книгам и науке и был совершенно не искушен блеском двора и возможностями карьерного роста. Философ любил жить среди книг и эстампов и общался с очень узким кругом близких друзей. В то же время Императорский кабинет медалей в Вене, которым руководил Дюваль, — настоящее место поклонения образованных посетителей со всей Европы, с интересом знакомившихся с исключительно богатой и профессионально поддерживаемой коллекцией и беседовавших с ее высоко эрудированным заведующим. Вплоть до глубокой старости, посвятивший свою жизнь книгам философ проявлял активный интерес к новейшим научным публикациям и политическим сочинениям эпохи. В то же время он знал и часто ссылался или цитировал целые пассажи из художественных произведений французских писателей эпохи классицизма, особенно из Буало, Мольера и Лафонтена. Другой его страстью была итальянская поэзия: известными стихами итальянских поэтов Дюваль иллюстрировал свои размышления о любви и красоте женщин.

Несмотря на то что письма Анастасии Соколовой были опубликованы при очень сильном редакторском вмешательстве Ф.-А. Коха и подверглись безжалостным сокращениям (см. Вачева 2018а), все же по уцелевшим фрагментам можно косвенно судить о ее интересах и эрудиции. Будучи воспитанницей мадемуазель Клерон, прославленной французской драматической актрисы и одной из лучших исполнительниц пьес Вольтера, Соколова была известна тем, что читала наизусть многие произведения писателя.

---

[2] О необыкновенной судьбе Валентина Жамре, принявшего псевдоним Дюваль (или дю Валь — «из долины»), переписке, участниках и истории ее издания, являющегося частью пропагандистского проекта Екатерины II, см. Вачева 2018а; 2018б; 2020.

Литературная компетентность камер-юнгферы поражает своей широтой. Рассуждая на разные темы, ее корреспондент рассчитывает, что Анастасия поймет его лучше, если он подкрепит свои мысли многочисленными цитатами из Мольера, Буало, Лафонтена, Лесажа, Лабрюйера, мадам де Севинье, Монтескье. В круг читательских интересов Соколовой входят как древние авторы (Анакреон, Тибулл, Овидий, Плиний, Цицерон, Иосиф Флавий, Аврелий Виктор и особенно Плутарх — несколько раз в письмах упоминается ее любовь к «Жизни замечательных людей»), так и современная французская проза, стихи Мильтона («Потерянный рай») и Грессе, аббат Коайе (роман «Chinki» и «История Яна Собесского»), галантный сборник «Le Papillotage», Геснер, Цахариэ и т. д. Мадемуазель Анастасия читает «Энциклопедию», дискуссии во французском парламенте, произведения Фридриха II. Возникает впечатление, что она очень быстро ориентируется в просьбах Дюваля доставить ему ту или иную книгу. Соколова не только «рекламирует» достижения русской культуры, выбирая и посылая в Вену интересные вещи, подарки, экзотические для тамошней аудитории продукты (см. Вачева 2018б). Она сама — прекрасный пример красивой, блестяще образованной и космополитично настроенной русской дворянки, которая с тактом и вкусом представляет свою страну.

Книги, которые вызывают наибольший интерес и приобретение которых становится настоящим праздником для пожилого нумизмата, можно объединить в несколько тематических групп. В первую очередь это опубликованные отчеты и материалы важных научных экспедиций в Сибирь, на Камчатку и на побережье Северного Ледовитого океана. Не только для скромного философа, но и для подавляющей части просвещенных европейцев это были волнующие научные открытия, которые изменяли представления о природе и реалистически объясняли природные богатства и особенности незнакомых и загадочных, даже мифологизированных территорий. Речь идет о книгах И. Г. Гмелина, созданных на материале проведенных им ботанических экспедиций по изучению флоры Сибири. Это «Путешествие в Сибирь между 1733 и 1743 г.» (Gmelin J. -G. Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bis

1743. T. I–IV. Göttingen, 1751–1752) и особенно «Флора Сибирская» (Gmelin J. -G. Flora sibirica sive Historia plantarum Sibiriae. T. I–IV. 1747–1759), в которой ученый описывает около 1200 растений, характерных для этой все еще не изученной географической области. Несмотря на то, что Гмелин преимущественно интересовался ботаникой, он оставил множество обстоятельных описаний этнографического и антропологического характера, комментирующих быт, религию, обычаи местного населения, состоящего из многочисленных «диких», экзотических и абсолютно незнакомых как для европейцев, так и для многих русских, народностей. Дюваль знакомится в разное время с трудами Гмелина. Четыре тома «Флоры Сибирской» послал ему через посредство Анастасии ее отец И. И. Бецкой, выдающийся деятель екатерининской эпохи, в 1774 г., под конец жизни философа (Duval 1784: II, 233). Другой труд подобного значения — «Описание морских путешествий по Ледовитому и восточному морю, с российской стороны учиненных» (1758) Г. Ф. Миллера[3]. Миллер был известен в то время также своими трудами по русской истории и истории Сибири. Получение «Истории земли Камчатки» (1750–1755) С. П. Крашенинникова очень обрадовало Жамре-Дюваля, который потом часто ссылался на этот труд[4]. Приобретение таких ученых трудов всегда было настоящим событием для философа, интересы которого включали натурфилософскую проблематику, историю, географию. Необходимо учесть также то, что многие из интересующих его заглавий книг о прошлом, настоящем и природе России находил он сам и читал до того, как сами книги были ему посланы. Таким образом Дюваль совершал свои замечательные «умозрительные путешествия», удовлетворяя свое безграничное любопытство в отношении все еще незнакомой для европейца страны: «Чтобы

[3] Не читавший по-русски Дюваль пользовался французским изданием этой работы (Müller 1766).

[4] Вероятнее всего, Дюваль читал французский перевод труда. У книги было четыре переиздания, и она была переведена на французский (1760, 1767–1770), немецкий (1766, 1771, 1789), голландский (1770), английский (1764) языки.

возместить ущерб, причиненный вашим длительным молчанием и чтобы одолеть головную боль и ишиас <…> я стал умственно путешествовать <…> и вот <…> кто был моим провожатым: “Описание морских путешествий по Ледовитому и восточному морю, с российской стороны учиненных” г-на Мюллера, его же история реки Амура[5], “Путешествие в Сибирь” г-на Гмелина, “История Камчатки” Крашенинникова, история Калифорнии иезуитов» (Duval 1784, I: 246; перевод здесь и далее мой — *А. В.)*. В своих недавних работах М. Эспань и Вл. Берелович указывают, что большинство упомянутых ученых, немцы по происхождению, жившие и работавшие подолгу в России, стали связующим звеном между Российской Академией наук и несколькими немецкими университетами, воспитанниками которых они были и с академической средой которых они были непрерывно связаны, — университетами Геттингена, Гейдельберга, Страсбурга (Эспань 2018: 230–260; Berelowitch 2018: 205–240). Именно благодаря усилиям академических кругов и академическим трудам, основанных на полевых наблюдениях, изучении оригинальных исторических источников и личном эмпирическом опыте, стали меняться и представления западноевропейцев о России: они становились реалистичнее и научнее. В этом контексте вышедший в Страсбурге в 1784 г. двухтомник произведений Жамре-Дюваля, где была помещена и переписка с Соколовой, можно рассматривать как своеобразное дополнение, как «учебное пособие» к курсам по истории и цивилизации России, которые читал проф. Кристоф-Гийом (Кристоф-Вильгельм) Кох (см. Baudin 2018), бывший наставником нескольких поколений европейских (и русских) дипломатов и являющийся, между прочим, братом редактора творений Дюваля Ф.-А. Коха.

Другими изданиями, вызвавшими сильное волнение и радость у корреспондента мадемуазель Соколовой, были законодательные акты российского престола, которые, как правило, вскоре после своего появления на русском языке переводились на западные

[5] Неясно, о каком труде Миллера точно идет речь.

языки: уставы Воспитательного дома и Смольного института благородных девиц (1764) и особенно «Наказ» Екатерины II (1767). Интерес к «Наказу» в Западной Европе был исключительным. Узнав, что появился такой труд, Дюваль не ждет, чтобы он был ему послан, а ищет способ раздобыть его сам. В его руки попадает первое неофициальное издание «Наказа» на французском языке, вышедшее в швейцарском городе Ивердоне в 1769 г. (Duval 1784: II, 15). Когда же Соколова посылает ему четыре экземпляра официального французского перевода (1770), Дюваль внимательно сравнивает варианты и выявляет различия между ними. Он оставляет один экземпляр для себя и внимательно обдумывает, кому подарить остальные три, обещая, что предоставит их только тем, кто действительно заслуживает права прочитать эту книгу. Один экземпляр Дюваль дарит императрице Марии Терезии, другой отдает многообещающему молодому юристу, третью посылает российскому послу в Вене князю Д. М. Голицыну (см. РГАДА. Л. 156, 156 об., 157; письмо от 1 мая 1770 г.). Все это демонстрирует механизмы культурной дипломатии Екатерины II, которая часто предпочитала использовать неформальные каналы (см. Stroev 2006: 18–19). В данном случае она прибегла к посредничеству приближенной камер-юнгферы и ее корреспондента. Императрица не послала столь важное для нее издание «Наказа» Марии Терезии напрямую. Она даже не использовала посредничество своего посла, чтобы тот подарил его австрийскому двору, а рассчитывала именно на интерес обыкновенного, но просвещенного и уважаемого человека, каким был Жамре-Дюваль. Следует учесть также исторический контекст получения драгоценного подарка: в то же самое время во Франции екатерининский трактат запретили.

К этим изданиям можно добавить и такие, которые не были непосредственно связаны с политикой, но были умело использованы в политической «рекламе» Российской империи, признанным мастером которой была Екатерина II. Это перевод романа «Велизарий» Мармонтеля, который, как это хорошо известно, был организован ею и осуществлен при ее непосредственном участии, а также

подарок, посланный лично императрицей скромному нумизмату с собственного письменного стола — «Розыск о раскольнической брынской вере» св. Димитрия Ростовского, ставший к тому времени библиографической редкостью (Duval 1784: I, 190). Дюваль ценил также оформление книг, даже когда их содержание было ему непонятным из-за незнания русского языка. Хорошая полиграфия, переплет, наличие иллюстраций для него были доказательством степени цивилизованности страны, считавшейся многими варварской.

Особое место в читательском репертуаре Жамре-Дюваля занимает «Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 г.» (1768) аббата Шаппа д'Отроша. От сообщения о выходе этого капитального труда в 1768 г. до конца своей жизни философ постоянно возвращается по разным поводам к нему. Но еще до знакомства с опусом аббата Шаппа Дюваль судит о его достоверности и добросовестности автора по отзывам и отрывкам в прессе: «В Париже вышла книга в 2 тома in 4to, озаглавленная "Voyage en Sibérie fait par l'ordre du Roi en 1761, etc." г-на аббата Шаппа д'Отроша из Королевской Академии наук. <…> Недоброжелательность, ирония и вымысел по-видимому преобладают над простой истиной в этом рассказе», — пишет Дюваль своей корреспондентке, рекомендуя, чтобы ее «покровитель» Бецкой прочитал труд аббата Шаппа (РГАДА. Л. 130 об.). Неопубликованные фрагменты этого письма, в том числе процитированный выше, позволяют лучше уловить его амбивалентное отношение к спорной книге. Философ привлечен оформлением и интересным сюжетом труда, являющегося тогда достижением полиграфического искусства, он даже высказывает свое раздражение, что не может позволить себе купить его из-за непостижимо высокой цены. Дюваль сравнивает себя с ребенком, глаза которого разбегаются при виде богатых иллюстраций: «Теперь читаю три (тома) ин-фолио аббата Шаппа и как дитя не могу перестать любоваться иллюстрациями, так как они действительно прекрасны» (Duval 1784, II: 19). Великолепное оформление, однако, не может ввести его в заблуждение относительно качества содержания. Жамре-Дюваль возмущается констатациями ученого

аббата, что «дикие» Сибирь и Камчатка, особенно холодная Сибирь, являются тяжелой ношей для Российской империи и что было бы неплохо освободиться от них, чтобы прогрессировать (РГАДА. Л. 135–135 об.). Его негодование вызывает также утверждение Шаппа, что русские — антиподы элегантности и цивилизованности его соотечественников. Дюваль категорически отвергает утверждения аббата, что у русских нет никаких тактических умений, из-за чего они обречены на военные поражения, и что они способны лишь поджигать города. По Дювалю, победы России во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. доказывают близорукость автора книги. В то же время философ находит множество правдивых мнений, преимущественно в отношении невежества духовенства, распространяющего, как следствие, невежество среди паствы. По поводу других сюжетов в труде Шаппа (например, телесных наказаний, некоторых свадебных и семейных обычаев и др.), Дюваль просит предоставить уточнения и подтверждение, что те или иные порочные практики запрещены. Он настаивает на том, чтобы его корреспондентка обязательно прочитала труд, так как «это чтение стоит намного дороже, чем забавы в Царском селе» (Duval 1784: II, 48–49), и не оставляет Соколову в покое, пока та не дает отзыв как о книге аббата Шаппа, так и об «Антидоте» (оба сочинения ей не понравились, и она не сочла их правдивыми — см. Duval 1784: II, 177).

Отзывы о прочитанных книгах играют важную роль в переписке Валентина Жамре-Дюваля и Анастасии Соколовой. Они не только являются свидетельством эрудиции обоих участников переписки, но и иллюстрируют достижения России в середине XVIII в. И особенно в первое десятилетие правления Екатерины II в области государственного строительства, законодательства, просвещения, науки, культуры. Как всегда, и в этом случае стратегия императрицы сформировать положительный имидж подвластного ей государства, используя частную корреспонденцию приближенной юнгферы и ее исключительно почтенного, уважаемого и эрудированного поклонника, действовала безотказно.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вачева 2018а — *Вачева А.* Русские и Россия в переписке Валентина Жамре-Дюваля и Анастасии Соколовой (1762–1774) // Quaestio Rossica. Vol. 6. 2018. № 4. P. 1110–1128.
2. Вачева 2018б — *Вачева А.* Чай, пушени еленски езици и хайвер: Вкусните руски изкушения в писмата на Валентин Жамре-Дювал и Анастасия Соколова // Дългият XVIII век. № 2. Наслади и забрани. София, 2018. С. 113–121. URL: http://bulgc18.com/?page_id=738 (дата обращения 18.08.2025).
3. Вачева 2020 — *Вачева А.* Издание переписки В. Жамре-Дюваля с А. Соколовой как пример пропагандистской политики Екатерины II // Диалог со временем. Dialogue with Time. 2020. Т. 73. С. 155–167.
4. РГАДА — Российский государственный архив древних актов. Ф. 181. Оп. 16. Итальянские, немецкие, молдавские, французские, шведские, еврейские, турецкие рукописи. Франц. № 11. Дело 1435. Собственноручные письма Дюваля, переплетенные в четвертку на французском языке.
5. Эспань 2018 — *Эспань М.* Тройственный культурный трансфер // Эспань М. История цивилизации как культурный трансфер. М., 2018. С. 230–260.
6. Baudin 2018 — *Baudin R.* Préface. Christophe-Guillaume Koch et la Russie // Histoire de Russie avec sa partie politique, par Mr. Koch, professeur à Strasbourg suivie de Constitution de l'empire de Russie. Édition présentée et commentée par R. Baudin et Wl. Berelowitch. Strasbourg, 2018. P. 7–77.
7. Berelowitch 2018 — *Berelowitch Wl.* Postface. Koch et l'historiographie européenne des Lumières sur la Russie // Histoire de Russie avec sa partie politique, par Mr. Koch, professeur à Strasbourg suivie de Constitution de l'empire de Russie. Édition présentée et commentée par R. Baudin et Wl. Berelowitch. Strasbourg, 2018. P. 205–240.
8. Duval 1784 — *Jamerai-Duval V.* Œuvres de Valentin Jamerai Duval, précédées des mémoires sur sa vie. T. I–II. S. Pétersbourg; Strasbourg, 1784.
9. Müller 1766 — *Müller G. F.* Voyages et découvertes faites par les Russes le long des côtes de la mer Glaciale & sur l'océan oriental. T. 1–2. Amsterdam, 1766.
10. Stroev 2006 — *Stroev A.* L'impératrice et le patriarche // Voltaire — Catherine II. Correspondance 1763–1778. Texte presenté et annoté par Al. Stroev. Paris, 2006. P. 7–29.

Артем Евгеньевич Трофимов
(Санкт-Петербург)

«ФАЕТОНОВА ПОГИБЕЛЬ» В РУССКОЙ ПАНЕГИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА

Мифологический сюжет о падении Фаэтона не раз попадал в объектив внимания исследователей русской литературы XVIII в. Одним из первых на его функционирование в торжественной оде Ломоносова обратил внимание А. А. Морозов (Морозов 1972: 23–27). Исследователь указывал на связь этого образа с богатой традицией западноевропейских эмблематических сборников. Л. О. Зайонц отмечала, что часто визуальный образ Фаэтона встречается в качестве элемента картуша на картах Петровской эпохи (Зайонц 2005: 119–120). Оба ученых обращались в первую очередь к стихотворениям Ломоносова, в которых за образом Фаэтона усматривается абстрактный образ врага, чаще всего северного.

Однако этот сюжет не столь однозначен. В XVIII в. первое литературное упоминание сюжета о Фаэтоне нам удалось обнаружить в трактате Стефана Яворского «Рука риторическая» 1705 г., где древнегреческий миф иллюстрирует употребление аллегории. Приведем цитату: «Еже ино речми, а ино разумом показует, или еще некогда противно тако хотяй рещи: о возмущенном гражданстве можеши привести иносказание моря. <…> Или о том же волнующеся гражданстве хотяй рещи иносказание от возгорения. Сице, на прикладе: Не вем кий губителный фаетон толикая кругу российскому верже возгорения: в них же ничего разве пепела погибших, и искры сокрытыя, дымящихся градов ожидати подобаше, но прийде внезапу свои им возгорения укротит ель, иовишем без приговорства: да будет лет мне нарещи тишайшаго монарха,

иже перунами своего скоропарнаго орла: толика возгорения утоли неистовности, и пиянственную огнищь обузда лютость, и яко домититанскаго творца изреку словеса Марсовыми обузда огнями огнян» (Риторическая рука 1878: 42–44).

Как можно заметить, в данном контексте Фаэтон представляет собой аллегорию не внешнего, а внутреннего врага России — мятежников и руководителей восстаний. Что примечательно, немалое внимание в этой аллегории уделяется также образу правителя, представленного в виде Зевса (Иовиша), который тушит пожар народного бунта. Встречается упоминание Фаэтона и в проповеднiческом творчестве Стефана Яворского, где Фаэтон порицается за неуместную просьбу и неумеренность в желаниях (наравне с царем Мидасом): «Воспоминает подобное нечто и Овидий стихотворец о некоем глупом Фаетонте, сыне солнцевом, якоже мняху древнии Еллини: но аз сего ныне воспоминати не хощу, понеже сия баснь всем вам известна, яко оный безразумный детищь, услышав у отца сицевое обещание, да еже воспросит, даст ему; и егда отец обеща и утверди клятвою, начал просить Фаетонт, дабы отец позволил ему на един день ездити в колеснице солнцевой по небу. Не мог преступити слова: даде златую колесницу, и огнистые кони вручи: но невежа младый отрок, понеже зле просил, не токмо себе погубил: понеже не могущий лошадей удержать, ниспаде с небесной высоты, но и весь мир неугасимым пожаром зажже» (Проповеди 1702–1716: 1, 225–226).

Совершенно иной облик получает миф о Фаэтоне в связи с Полтавской победой 8 июля 1709 г. В этот период сюжет стал неотъемлемой частью в том числе внелитературного дискурса. Пожалуй, самым ярким его использованием знаменуется письмо Петра I к Ф. Ю. Ромодановскому по окончании битвы. Среди сухого и делового стиля письма возникает следующая фраза: «И единым словом сказать: вся неприятельская армея Фаэтонов конец восприяла…» (Письма 1950: 227–228). Именно здесь, насколько мы можем судить на сегодняшний день, образ падающего Фаэтона начинает долгую историю связи с образом внешнего врага России.

Осознанно или нет, вслед за Петром этот образ употребляет Феофан Прокопович в героической поэме «Епиникион», созданной также по случаю Полтавской победы. В цитате из поэмы можно видеть сравнение военного поражения шведского войска с падением Фаэтона:

…Позна величавый
Свей суетну бров быти гордины своея
И, поражен силою десницы твоея,
Аки с небес молнием, достиже злонравный
В конец Фаетоновой погибели равный. (Феофан Прокопович 1961: 213)

А. А. Морозов замечает, что образ Фаэтона встречается у Феофана Прокоповича и ранее — в одном из разделов «Поэтики», где в качестве образца поэтического повествования Феофан приводит речь земли, сожженной Фаэтоном, из «Метаморфоз» Овидия (Феофан Прокопович 1961: 372). Тем не менее аллегория врага закрепляется за этим образом именно в «полтавской» поэме «Епиникион».

Обратимся теперь к ломоносовским примерам, прежде всего — к «Оде на прибытие Елизаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург 1742 года по коронации»:

Но что страны вечерни тмятся
И дождь кровавых каплей льют?
Что финских рек струи дымятся
И долы с влагой пламень пьют?
Там, видя выше горизонта
Входяща готфска Фаетонта
Против течения небес
И вкруг себя горящий лес,
Тюмень в брегах своих мутится
И воды скрыть под землю тщится. (Ломоносов 1986: 87)

В этом фрагменте описывается стратегическое поведение шведов в период русско-шведской войны 1741–1743 гг., шедших «против течения небес», то есть с запада на восток. Как видно, Ломоносов сравнивает военную акцию шведов с безумием Фаэтона, вводя перифразу «готфский Фаетонт», где под готами подразумеваются скандинавские реваншисты, стремящиеся вернуть ранее утраченное величие своей державы.

В поле внимания исследователей не раз попадал также фрагмент из «Оды Государыне Императрице Елисавете Петровне на преславные Ее победы, одержанные над королем прусским нынешнего 1759 года»:

Где ныне королевско слово,
Что страшно воинство готово
На запад путь наш прекратить?
Уже окровавленна Прегла,
Крутясь в твоей земли, пробегла
Российску силу возвестить.
Там Мемель в виде Фаэтонта
Стремглав летя, нимф прослезил,
В янтарного заливах Понта
Мечтанье в правду претворил. (Ломоносов 1986: 152–153)

В этом фрагменте описываются события восточнопруссской кампании русской армии в ходе Семилетней войны, а именно — осада города Мемеля 5 июля 1757 г. Как можно заметить, имя Фаэтона здесь ассоциируется с падшим Мемелем, конкретно — с войском Фридриха II. Это, в частности, позволило Л. О. Зайонц сделать вывод о том, что в дальнейшем именем Фаэтона обозначается всякий северный противник России, то есть как шведы, так и немцы (Зайонц 2005: 120).

Вместе с тем хотелось обратить внимание на то, что дальнейшая семантика этого мифологического образа в русской поэзии становится все более общей. Чтобы показать это, обратимся к фрагменту

из «Оды Государыне Екатерине Алексеевне на 1764 год Января 1 дня» А. П. Сумарокова, где утверждается готовность подданных империи постоять за честь родины в случае внешней угрозы:

Низпадша вижу Фаетонта,
В когтях Российскаго орла.
О буди кто из нас готовый,
Нам вождь Перикл, или Минних новый,
На нуждны казни внешня зла! (Сумароков 2009: 96)

Как видно, здесь под образом Фаэтона подразумевается, по большому счету, любой потенциальный враг России. Роналд Вроон, комментируя сочинения Сумарокова, отмечает тот факт, что Фаэтон приобретает устойчивое аллегорическое значение самонадеянного врага России (Сумароков 2009: 273). Еще более любопытным видится следующее сумароковское стихотворение — «Ода Екатерине Алексеевне на день коронования Ея сентября 22 дня 1770 года»:

Державе, коя толь вредна,
Была по днесь Европе целой,
Предпишет суд и казнь, одна
Екатерина в мысли смелой.
Народы Европейских стран!
Пресильный вам поборник дан,
В лице великия богини:
И дерзновенный Фаетонт
Колеблет тщетно горизонт,
Низринет рок ево: низрини! (Сумароков 2009: 152–153)

Здесь речь идет о будущей победе российской императрицы в русско-турецкой войне 1768–1774 гг. Под именем Фаэтона, соответственно, аллегорически подразумеваются турки. Именно

туркам посвящены все дальнейшие случаи аллегорического употребления образа Фаэтона в творчестве Сумарокова. Приведем несколько примеров:

Икар высокомерный тает,
Низвержен гордый фаетонт:
Екатерине соплетает,
Хвалу весь юг и гелеспонт.
Турецкий флот горит, дымится,
Трепещет море, небо тмится,
Земля колеблется, дрожит,
Врагам во страхе нет отрады,
Шумят леса, валятся грады,
К дунаю вспять визир бежит. («Ода Ея Императорскому Высочеству Наталии Алексеевне»; Сумароков 2009: 171)

Узрит россия пред собой,
Полтавско поле к обороне:
Низвержен будет фаетонт,
Границ российских турк не тронет:
Или тронув падет, застонет:
Смутится паки гелеспонт. («Ода Ея Императорскому Высочеству Наталии Алексеевне на перьвый день 1774 года»; Сумароков 2009: 183)

Доколе порта ни пребудет,
Екатерины не забудет
Византия и гелеспонт.
Стремленьем севера царицы,
С горящей солнца колесницы
Низвержен будет фаетонт. («Ода Ея Императорскому Величеству Екатерине Алексеевне на заключение мира с Портою Оттоманскою»; Сумароков 2009: 187)

Любопытным видится также случай использования имени Фаэтона в «Оде на взятие Очакова» (1788 г.) В. П. Петрова:

Уа! Упали Фаетонты
Стремнистых с высоты оград!
Не в мягки, им подстланны, понты,
Стремглав упали в черный ад! (Петров 1811: 32)

Видно, что здесь имя Фаэтона, употребленное во множественном числе, приобретает форму казуальной антономазии для обозначения турок.

На основании приведенных данных можно сделать следующие заключения. При работе с разным материалом исследователями неоднократно и справедливо фиксировались отдельные аллегорические значения образа Фаэтона, однако об эволюции этого образа, его аллегорической трансформации, как кажется, до сих пор сказано не было. Будучи изначально аллегорией внутрироссийской угрозы, имя *Фаэтон*, благодаря реактуализации в год Полтавской победы, становится устойчивой аллегорией внешнего врага — сначала шведов, затем германских стран в целом. Именно Полтавская победа стала отправной точкой, с которой трансформированный в аллегорию внешнего врага образ Фаэтона начал свой путь в русской литературе. Практически с первых же «полтавских» текстов Фаэтон наделяется такими качествами, как неумеренная гордыня и дерзость. За это время меняется и форма языкового выражения этого образа. От мифологической аналогии у Стефана Яворского образ Фаэтона переходит к форме устойчивой аллегории (а в редких случаях принимает форму антономазии), прочно входя в поэтический язык XVIII в. (Словарь 2022: 299–300).

Причины, по которым этот образ не утратил своей актуальности на протяжении многих лет, заключаются главным образом в его периодической реактуализации в период частых войн и побед русского оружия. Однако, помимо этого, существует еще одна причина популярности мифа о Фаэтоне. Смирителем дерзновенного

возмутителя спокойствия и спасителем выступает Зевс, под которым подразумевается правящий монарх. В начале бытования этого сюжета в русской литературе Зевс являлся обязательным его элементом, поскольку миф передавался в деталях. С течением времени сюжет подвергся значительной редукции, однако наличие Зевса как высшей силы, охраняющей землю, вероятно, подразумевалось в нем имплицитно (точнее, его функцию перенял образ правящего российского монарха). Таким образом, сюжет древнегреческой мифологии призван был не только показать поэтическую преемственность авторов, но и подчеркнуть силу правящего монарха, в связи с чем на протяжении XVIII в. миф о падении Фаэтона в русской литературе оставался столь популярен.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зайонц 2005 — *Зайонц Л. О.* «Балтийский» топос и формы его поэтической сублимации в русской оде // Антропология культуры. Вып. 3. к 75-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М., 2005. С. 119–120.
2. Ломоносов 1986 — *Ломоносов М. В.* Избранные произведения. Л., 1986.
3. Морозов 1972 — *Морозов А. А.* Паденье «Готфска Фаетонта». Ломоносов и эмблематика петровского времени // Československá rusistika. 1972. № 1. P. 23–27.
4. Письма 1950 — Письма и бумаги императора Петра Великого: в 13 т. Т. 9. Вып. 1. М.; Л., 1950.
5. Петров 1811 — *Петров В. П.* Сочинения: в 3 ч. Ч. 2. СПб., 1811.
6. Проповеди 1702–1716 — Проповеди Стефана Яворского за 1702–1716 гг. // ОР РГБ. Ф. 173. Оп. 2. Ед. хр. 112. 192 л.
7. Риторическая рука 1878 — Риторическая рука, сочинение Стефана Яворскаго / пер. С лат. Федора Поликарпова. [СПб.], 1878.
8. Словарь 2022 — Словарь антропонимов в русской панегирической поэзии XVIII в. / науч. ред. С. С. Волков, Е. М. Матвеев, М. Г. Шарихина. СПб., 2022.
9. Сумароков 2009 — *Сумароков А. П.* Оды торжественныя. Елегии любовныя / под ред. Р. Вроона. М., 2009.
10. Феофан Прокопович 1961 — Феофан Прокопович. Сочинения / под ред. И. П. Еремина. Л., 1961.

Анна Юрьевна Тираспольская
(Санкт-Петербург)

ГРАФ NN КАК ПСИХОПАТИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ (К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЗМА В ПОЗДНЕЙ ПРОЗЕ Н. М. КАРАМЗИНА)

> Вообразите, если можете, что значит не иметь ни капли совести, никакого чувства вины или раскаяния, независимо от того, что Вы делаете; не испытывать никакого ограничивающего чувства беспокойства за благосостояние незнакомцев, друзей, или даже членов семьи. Вообразите, что вы ни разу в жизни не боролись со стыдом, независимо от того, насколько эгоистичными, ленивыми, вредными или даже безнравственными были ваши действия. <…> Вина или стыд не удерживают Вас ни от единого желания, и другие люди никогда не выявят Ваше полнейшее хладнокровие. <…> Вы полностью свободны от внутренних ограничений, и ваша беспрепятственная свобода делать то, что вам нравится, без мук совести, удобна тем, что совершенно невидима для мира[1].

Бессмертие литературного текста обеспечивается заложенной в нем способностью вызывать у каждого нового поколения читателей живую заинтересованность: эмоциональный и (или) интеллектуальный отклик. Это происходит при условии, когда хотя бы один значимый пласт произведения оказывается созвучным тем или иным «запросам» эпохи. «Моя исповедь» (1802) Н. М. Карамзина — произведение настолько глубокое и многогранное, что еще не одно поколение исследователей будет открывать в нем новые

[1] *Cleckley H. M.* The Mask of Sanity: An Attempt to Reinterpret the So-called Psychopathic Personality. St. Louis. 1941. Цит. в переводе по: Крашенинников 2023.

важные нюансы, на которые не обращали внимания их предшественники вовсе не из-за того, что были менее зорки, а потому, что были заинтересованы в ответах на другие вопросы.

В 60-е гг. прошлого века Ф. З. Канунова справедливо выражала сожаление о том, что «Моя исповедь» мало изучена, и называла данное карамзинское произведение «одним из наиболее спорных» (Канунова 1967: 136). Однако и спустя более полувека можно утверждать, что ученым удалось разгадать далеко не все загадки этой «исповеди наоборот». В частности, особый интерес представляет проблема исследования уникальной природы психологизма, присутствующего в тексте писателя. Современное увлечение общества самыми разными психологическими аспектами существования человека (в первую очередь — в социуме) позволяет, в частности, яснее осознать глубину художественного «провидения» Карамзина в области изображения психологии личности, причем личности, выражаясь языком науки, «деформированной», или «извращенной» (о данном термине см., например, Лазурский 1997: 91).

Размышляя о психологизме в художественной прозе, Л. Я. Гинзбург отмечала: «Не только литературный характер, но и характер, с которым мы имеем дело в социологии, в истории и даже в обыденной жизни, также является структурой, возникающей из наблюдения людей над процессами внутренними (самонаблюдение) и внешними» (Гинзбург 1971: 13). К сожалению, в нашем распоряжении не имеется достоверной информации о том, на каком материале писатель создавал своего инфернального героя: существовал ли какой-то один прототип графа NN среди современников Карамзина, или же образ является сугубо собирательным; в какой мере повлияли на автора западные образцы подобного типа, в первую очередь, конечно же, фигура коварного Роберта Ловеласа, мастерством изображения которого так восхищался молодой Карамзин в своей рецензии на русский перевод романа С. Ричардсона «Кларисса, или История молодой леди» (см. Карамзин 1964: 2, 112) и т. д. При всем этом мы можем констатировать, что в «Моей исповеди» за восемьдесят лет до появления самого термина

«психопатия» (1884 г., автор — русский психиатр И. М. Балинский, термин активно использовался В. М. Бехтеревым) представлен персонаж, щедро награжденный своим создателем яркими психопатическими (и социопатическими) чертами.

Представляя собой антиисповедь (или псевдоисповедь), т. е. исповедь, лишенную самой своей сути — раскаяния и нравственного начала (об этом см. Лотман 1997: 385–387; Кочеткова 1984: 95–96; Кочеткова 1994: 250–251; Алпатова 2012: 444), — произведение Карамзина сконцентрировано вокруг одной личности — графа NN: нарциссичного и безнравственного русского дворянина из богатого и знатного рода. Эгоцентризм и самолюбование подводящего некий итог своей жизни героя обнажаются им самим с первых же строк его письма к издателю: «Признаюсь вам, государь мой, что я не читаю вашего журнала, а желаю, чтобы вы поместили в нем мое письмо. <…> я намерен говорить о себе: вздумал и пишу — свою исповедь, не думая, приятна ли будет она для читателей» (Карамзин 1964: 1, 729). Писатель максимально явно раскрывает неприкрытое стремление графа любой ценой оказаться в центре внимания общества, то есть, по определению современной психологии, изображает поведение демонстративной личности.

Безусловно, правы исследователи, указывающие на мысль о необходимости с детства прививать ребенку (в особенности в дворянской семье) строгие морально-этические принципы, духовные ценности и высокие идеалы как на ключевую идейную составляющую «Моей исповеди» (см. Канунова 1967: 137). Не подлежит также сомнению утверждение, что формированию своего характера и мировоззрения безнравственный герой Карамзина во многом обязан ненадлежащему, даже губительному «воспитанию» в собственной семье и во время обучения за границей (см., например, Луцевич 2020: 54–55). Вместе с тем, остается не совсем понятным, как «избалованный родителями барчук» (определение Е. Н. Купреяновой — Купреянова 1962: 73) вырос в столь страшного апологета зла, который, сам имея пустую душу, несет окружающим его людям опустошение, беды и гибель. Вышесказанное заставляет

нас задуматься о наличии у графа неких врожденных качеств, которые позволили ему так легко превратиться в жестокого и холодного циника.

Едва ли возможно найти научную работу, посвященную «Моей исповеди», в которой не анализировались бы порочность и аморальное поведение графа NN. Но если на протяжении XX столетия исследователи характеризовали карамзинского героя, оперируя этическими категориями (ср.: «Герой — воплощение зла», «чудовище», «худой муж», «худой гражданин» в означенных работах Н. Д. Кочетковой; «герой пустился в бездумную легкомысленную жизнь, лишенную каких бы то ни было моральных принципов и устоев» (Канунова 1967: 138–139) и т. п.), в филологических разысканиях последних двух десятилетий предпочтение отдается в большей мере определениям из области психологии. Так, например, в статье Л. Ф. Луцевич справедливо указывается на то, что содержание исповеди аморального графа определяет его «гипертрофированно разросшееся “эго”, культивирующее цинизм как в убеждениях, так и в поступках» (Луцевич 2020: 53); убедительными также представляются слова о последовательной романтизации героем собственной персоны (Луцевич 2020: 57). Утверждение Луцевич о том, что в центре сатирической повести Карамзина находится «окарикатуренная фигура безнравственного эгоцентрика» (Луцевич 2020: 53), на наш взгляд, требует некоторой корректировки. Так, в данной работе предлагается рассмотреть ряд деталей описания характера и поведенческих особенностей графа NN, с высокой долей вероятности указывающих на то, что образ этого героя является не столько карикатурой, сколько психологически точным изображением личности с вполне определенными психопатологическими чертами.

Начнем с наиболее очевидных моментов. Как помним, ярчайшей особенностью эгоцентричного графа является его абсолютная неспособность любить кого бы то ни было, кроме себя, и вообще испытывать чувство эмоциональной привязанности. «Ласки родителей не сделали в холодной душе моей никакого впечатления»

(Карамзин 1964: 1, 732), — прямо заявляет герой. Смерть родной матери расстраивает его в первую очередь из-за невозможности наслаждаться спектаклями во время официального траура в доме, а отношения с женщинами нужны ему исключительно для развлечения и спасения от скуки, для того, чтобы тешить собственное самолюбие, находиться в центре внимания, эпатируя общество, и возноситься в глазах своих подражателей. Все это сочетается с поистине виртуозной способностью бесчувственного графа с выгодой для себя изображать в нужный момент перед нужными людьми чувства и эмоции, которые он на самом деле не испытывает и испытывать не способен[2] (его природной страстью к «актерствованию» в жизни). Так, поставив себе цель увести Эмилию от второго мужа, притворщик искусно разыгрывает влюбленность, раскаяние, горе и отчаяние перед бывшей женой и даже угрожает самоубийством, дабы добиться от нее согласия на побег. Описанные выше поведение и поступки персонажа явственно отсылают нас к таким чертам психопатической личности как 1. бессердечие / отсутствие эмпатии, 2. лживость, коварство и манипулятивность, а также 3. развитая в наивысшей степени способность к мимикрии[3] (все три пункта по: Крашенинников 2023). Антигерой Карамзина именно патологически «безлюб», равнодушен и холоден, а потому потенциально жесток по отношению ко всем людям без исключения; ради удовлетворения своих эгоистических прихотей он может, надевая любые «маски», входить в доверие к своим жертвам, что делает его особенно опасным для общества. Сильнее всех от неспособности графа к эмпатии страдают его близкие. Герой ни во что не ставит чувства и потребность в любви и уважении своей жены, его ни капли не волнуют переживания собственной матери, и это полнейшее равнодушие к чувствам родных буквально разрушает, убивает последних.

---

[2] Ср.: «Психопаты никогда не чувствуют горя, искренности, глубокой радости или подлинного отчаяния» (Крашенинников 2023).

[3] Ср.: «Психопаты — это мастера мимикрии. Они могут имитировать любые эмоции, чтобы вызвать нужную реакцию у другого человека» (Крашенинников 2023).

Поразительно, что описания проявлений других психопатических наклонностей графа, которые современная наука склонна относить к разряду социопатических, в произведении Карамзина выглядят так, словно были созданы писателем специально для иллюстрации данных отклонений в учебнике по психологии, ибо хулиганства и эпатажное поведение героя со всей очевидностью продиктованы, с одной стороны, его пренебрежением морально-этическими нормами и правилами поведения в социуме, с другой — способностью испытывать радость / удовлетворение от конфликтных ситуаций, им самим же спровоцированных. Необходимо отметить, что все провокационные выходки бесстыдный повеса совершает «в трезвом уме и здравой памяти»[4]: когда роняет в танцах на землю «самым неблагопристойным образом» благородных немецких дам, кусает за ногу папу римского, разрушает очередной семейный очаг («Часто выходит беспорядок в семействах, но он имеет свою приятность. Сцены обморока, отчаяния для знатоков живописны» — Карамзин 1964: 1, 733) или увозит свою бывшую жену от нового мужа с главной целью побить рекорды всех «романических ловеласов».

Четко и последовательно Карамзин указывает на полное отсутствие у графа NN раскаяния и чувства вины за причиненное им зло, что является одним из доминантных признаков психопатической личности (см. Крашенинников 2023). Финальный «торжественный гимн» героя собственной отвратительной и никчемной, с точки зрения любого нормального человека, жизни наиболее ярко демонстрирует этот порок: «Я доволен своим положением и, видя во всем действие необходимой судьбы, ни одной минуты в жизни моей не омрачил горестным раскаянием» (Карамзин 1964: 1, 738).

---

[4] Ср.: «Психопаты <…> не лишены чувства реальности <…> мыслят рационально и осознают, что и почему делают. В основе их поступков лежит не душевная болезнь, а холодный и расчетливый рассудок вкупе с ужасной неспособностью относиться к окружающим как к мыслящим и чувствующим созданиям» (Крашенинников 2023).

Следует подчеркнуть, что при наличии нарциссического чувства собственной грандиозности карамзинский граф в то же самое время не брезгует самым постыдным образом уронить свое достоинство в глазах общества во имя преследуемой цели. Так, ради спасения от долговой тюрьмы и соблазнения бывшей жены он не гнушается «взвести на себя небылицу, которая давала Эмилии право избрать другого мужа» (Карамзин 1964: 1, 737), а затем — жить на положении приживала в доме ее богатого и знатного второго супруга. Аналогичным образом позднее беспринципный герой неплохо устраивает свою жизнь в качестве любовника-альфонса нескольких немолодых дам[5]. Отсутствие не только стыда, но и подлинного чувства собственного достоинства — еще одна из характерных черт психопата. В конце жизненного пути граф NN, который успел сделаться шутом, сводником и ростовщиком, одновременно омерзителен и жалок, но по-прежнему страшен в первую очередь тем, что его пример бездушно-бездумного существования и культивирования в самом себе пороков заразителен для окружающих.

Будучи наблюдательным, тонко чувствующим человеком и талантливым писателем — знатоком человеческих душ, Карамзин вывел на страницах сатирической «Моей исповеди» страшный образ бездушного «морального калеки», интуитивно наделив его всеми основными определяющими чертами психопатической личности и этим намного опередив свое время в плане отображения глубин человеческой психики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алпатова 2012 — *Алпатова Т. А.* Проза Н. М. Карамзина: поэтика повествования. М., 2012.
2. Гинзбург 1971 — *Гинзбург Л. Я.* О психологической прозе. Л., 1971.

[5] Данный факт биографии графа также может быть рассмотрен в свете его «психических особенностей», поскольку люди психопатического склада часто проявляют склонность к паразитическому образу жизни: «Психопаты отличаются сверхъестественной способностью находить и использовать заботливых женщин» (Крашенинников 2023).

3. Канунова 1967 — *Канунова Ф. З.* Из истории русской повести (Историко-литературное значение повестей Н. М. Карамзина). Томск, 1967.
4. Карамзин 1964 — *Карамзин Н. М.* Избранные сочинения: в 2 т. М.; Л., 1964.
5. Кочеткова 1984 — *Кочеткова Н. Д.* «Исповедь» в русской литературе конца XVIII в. // На путях к романтизму: Сборник научных трудов. Л., 1984. С. 71–99.
6. Кочеткова 1994 — *Кочеткова Н. Д.* Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб., 1994.
7. Крашенинников 2023 — *Крашенинников Р.* Наиболее полное описание психопатической личности. 25.04.2023. URL: https://www.b17.ru/article/psychofull/ (дата обращения 06.07.2025).
8. Купреянова 1962 — *Купреянова Е. Н.* Русский роман первой половины XIX в. От сентиментальной повести к роману // История русского романа: в 2 т. Т. 1. М.; Л., 1962. С. 66–85.
9. Лазурский 1997 — *Лазурский А. Ф.* Избранные труды по психологии. М., 1997.
10. Лотман 1997 — *Лотман Ю. М.* Пути развития русской прозы 1800 — 1810-х гг. // Лотман Ю. М. Карамзин. СПб., 1997. С. 349–417.
11. Луцевич 2020 — *Луцевич Л. Ф.* «Признания мои не имеют никакой нравственной цели» («Моя исповедь» Н. М. Карамзина) // Два века русской классики. 2020. Т. 2. № 2. С. 46–65.

Александр Анатольевич Карпов
(Санкт-Петербург)

«ПЕРСТЕНЬ» Е. А. БАРАТЫНСКОГО И «ВЛЮБЛЕННЫЙ ДЬЯВОЛ» Ж. КАЗОТА

Вопрос о рецепции повести Ж. Казота «Влюбленный дьявол» (*Le Diable amoureux*, 1772) в русской литературе первой половины XIX в. уже не раз привлекал внимание исследователей, в первую очередь, в связи с творчеством Пушкина[1]. С разной степенью

[1] Пользуясь случаем, хочу устранить одну укоренившуюся при освещении темы «Пушкин и Казот» ошибку. Говоря о знакомстве Пушкина с творчеством французского писателя, исследователи часто упоминают издания его произведений, имевшиеся в библиотеке поэта, — полное четырехтомное собрание сочинений на французском языке (Œuvres badines et morales, historiques et philosophiques de Jacques Cazotte. Première Édition complète. Paris, 1816–1817) и «русский перевод» «Влюбленного дьявола» — «Влюбленный дух, или Приключение дона Альвара» (см. Жирмунский, Сигал 1967: 271; Шульц 1987а: 7, 10; Вольперт 2004: 158; Вольперт 2010: 86). В последнем случае мы имеем дело с явным недоразумением. Собственно перевод произведения Казота завершается во «Влюбленном духе» фрагментом, рассказывающим об увлечении героя карточной игрой. Далее казотовский сюжет сменяется нелепым *сказочным* продолжением «приключения дона Альвара», в котором «влюбленный дух» превращается в волшебную помощницу героя. Преодолев при ее содействии множество препятствий, Альвар получает «в супружество гишпанского короля дочь Пульхру» и «в скором времени» сам принимает «титул короля гишпанского». Не случайно текст этой радикальной переработки повести Казота был опубликован в составе сборника «Старая погудка на новый лад, или Полное собрание древних простонародных сказок. Издана для любителей оных» (Ч. 2. М., 1795). Помимо «Влюбленного духа» во вторую часть сборника вошли «Сказка о старичках келейниках», «Сказки о бабе Яге. О старике и внуке его петухе», «Сказки о Иване Королевиче, о Бархате Королевиче и Василисе премудрой» и другие подобные сочинения (см. Модзалевский 1910: 99). Излишне говорить о том, что, любопытная сама по себе, эта переработка казотовского источника никак не могла послужить основой знакомства Пушкина с подлинным текстом «Влюбленного дьявола».

убедительности он был рассмотрен в работах, посвященных пушкинскому плану «Москва в 1811 году…» и основанной на устном рассказе Пушкина повести Тита Космократова (В. П. Титова) «Уединенный домик на Васильевском»[2], в связи с повестями «Выстрел»[3] и «Пиковая дама»[4]. Помимо этого «Влюбленный дьявол» рассматривался как один из вероятных источников поэмы Лермонтова «Демон»[5]. Перечень произведений русских авторов, в той или иной мере испытавших влияние Казота, необходимо дополнить и повестью Е. А. Баратынского «Перстень».

Одной из характерных особенностей «Перстня» является его очевидная связь с литературной традицией. Многие образы, детали, сюжетные ситуации повести вызывают ассоциации с произведениями Метьюрина и Сервантеса, Гете и Кальдерона, легендами об Агасфере и магическом кольце Соломона, переданном бесу Асмодею… Система аллюзий и реминисценций, заключенных в повести Баратынского, была рассмотрена мной в особой работе[6]. Однако «Влюбленный дьявол» не был тогда включен в круг претекстов «Перстня». Настоящая публикация восполняет этот пробел.

Можно заметить, что некоторые аналогии между повестью Баратынского и произведениями его предшественников не имеют «персонального» характера, одновременно указывая на целые группы близких в тех или иных отношениях текстов, другие же отсылают к вполне конкретным источникам. При рассмотрении связей «Перстня» с «Влюбленным дьяволом» обнаруживаются оба типа межтекстовых контактов.

Обращает на себя внимание сходство центральных персонажей, а также сюжетных схем «Влюбленного дьявола» и вставного фрагмента повести Баратынского — истории испанского чернокнижника Антонио, представляющей собой фантастически

---

[2] См. Оксман 1924: 166–168; Цявловская 1960: 111–130; Осповат 1986: 182; Шульц 1985: 63–78; Шульц 1987а: 84–151; Шульц 1987б: 115–139.

[3] См. Шульц 1985: 89–90; Шульц 1987а: 163–170.

[4] См. Шульц 1987а: 192–206; Поддубная 1994: 17–21.

[5] См. Вольперт 2010: 83–87.

[6] См. Карпов 1996: 171–185.

преломленную биографию главного героя «Перстня» Антона Опальского[7]. Воспитанные в религиозном духе, и Альвар, и Антонио тем не менее настойчиво стремятся к запретному знанию[8]; необузданное любопытство обоих[9], соединенное с любовью к женщине, становится причиной их отступничества, сменяющегося затем глубоким раскаянием; в обоих случаях преданная возлюбленная каббалистов (Бьондетта и Мария) неожиданно превращается в их владычицу…

Конечно, можно заметить, что отмеченные черты героев и сюжетов Казота и Баратынского в основном не имеют уникального характера, вписываясь в «фаустовский» (в самом широком смысле) контекст. Тем не менее, их совокупность, как представляется, свидетельствует об ориентации автора «Перстня» и на казотовский источник. Еще более очевидной эта ориентация становится при сопоставлении важнейших для обоих произведений эпизодов совершения магических обрядов, призывания сил зла.

В повести Казота магический ритуал начинается с того, что поделившийся с Альваром своим секретом каббалист Соберано очерчивает на песке круг, вписывая в него некие таинственные знаки. Вслед за тем Альвар произносит формулу заклинания и трижды называет имя Вельзевула:

«*Трепет пробежал у меня по жилам, волосы на голове встали дыбом.* Едва я умолк, напротив меня под самым сводом распахнулись две створки окна; в отверстие *хлынул поток ослепительного света, более яркого, чем дневной*; и огромная голова верблюда,

---

[7] Подзаголовок «Влюбленного дьявола» — «Испанская повесть».

[8] Ср. страстное обращение Альвара к каббалисту Соберано: «Вы повелеваете духами <…> я хочу, как и вы, вступить с ними в сношения, я хочу этого, хочу!» (Казот 1967: 108) и характеристику Антонио: «Несмотря на набожность, в которой его воспитывали <…> рано предался он преступным изысканиям: тайно беседовал с учеными жидами, рылся в каббалистических книгах долго, безуспешно; наконец край завесы начал перед ним приподыматься» (Баратынский 1832: 175).

[9] «Любопытство — моя главная страсть», — признается герой Казота (Казот 1967: 108). «Две страсти — любопытство и любовь — довели его до погибели», — говорит о себе Опальский-Антонио (Баратынский 1832: 175).

страшная, бесформенная, с гигантскими ушами, показалась в окне. *Безобразный призрак* разинул пасть и *голосом, столь же отвратительным, как и его внешность*, произнес: *Che vuoi?* [*Что ты хочешь?* (*итал.*)]

В самых отдаленных закоулках пещеры, высоко под сводами гулким эхом отозвалось это страшное: *Che vuoi?*

Не берусь описать свое состояние; не знаю, откуда у меня достало мужества и сил не упасть без чувств при виде этого страшного зрелища и при еще более *страшных звуках голоса*, раздававшегося в моих ушах.

В изнеможении, обливаясь холодным потом, я сделал нечеловеческое усилие, чтобы овладеть собой. <…> Перелом свершился: я превозмог свой страх и смело в упор взглянул на призрак.

— Чего ты хочешь сам, являясь в таком омерзительном облике, дерзкий?

После минутного колебания призрак ответил уже более тихим голосом: “Ты звал меня…”» (Казот 1967: 111–112)[10].

Впечатляющие подробности содержит и описание повторного появления Вельзевула в концовке повести Казота, уже после того, как Альвар окончательно, как ему кажется, оказался во власти дьявола: «Не успел я опомниться от этой странной речи, как рядом со мной раздался *резкий свист*. В ту же минуту окружавший меня *мрак рассеялся*; карниз под потолком оказался весь покрыт огромными улитками; их рожки быстро шевелились и вытягивались, излучая *пучки фосфорического света*, который от движения становился еще ярче.

Наполовину ослепленный этой внезапной иллюминацией, я бросил взгляд на постель рядом с собой. Но что я увидел вместо прелестного личика? О, небо! *отвратительную голову верблюда.* Громовым голосом она произнесла свое зловещее *Che vuoi?* которое некогда повергло меня в такой ужас в пещере, разразилась еще

---

[10] Здесь и далее (за исключением авторского «*Che vuoi?*») курсив мой. — *А. К.*

более *зловещим хохотом* и высунула бесконечно длинный язык…» (Казот 1967: 156).

В ключевом для «Перстня» эпизоде отречения Опальского-Антонио «от Бога, добра и спасения» Баратынский воспроизводит целый ряд содержащихся в казотовских сценах появления Вельзевула подробностей, эффектных, запоминающихся деталей. Совершая свой ритуал, герой Баратынского также чертит «магические фигуры». Возникшее вслед за тем видение вызывает у него, как и у Альвара, ужас, который он также преодолевает. Как и во «Влюбленном дьяволе», появление духа зла сопровождает странный свист, окружающий мрак внезапно пронизывают потоки яркого света, явившийся Антонио дух повторяет казотовский вопрос «Чего ты хочешь?», безобразному призраку Вельзевула соответствуют пугающие фигуры ведьмы, беса и демона, обряд антикрещения сопровождает адский хохот[11]:

«Покой его наполнился странным жалобным *свистом*. Антонио поднял глаза… Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи.

"Чего ты хочешь?" — сказал он ему *голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце и волосы стали у него дыбом*. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами, полными любовию… Он призвал всю свою смелость. "Хочу быть любим Мариею", — отвечал он голосом твердым.

---

[11] Примечательно, что и в новелле Гофмана «Огненный дух» (*Der Elementargeist*, 1822; первый русский перевод был сделан в 1896 г.), подчеркнуто соотнесенной с «Влюбленным дьяволом», при описании обряда призывания духов, совершаемого демоническим майором О'Маллеем, также возникают казотовские детали, запомнившиеся Баратынскому. Вот что рассказывают его участники: «*Я почувствовал, что на лбу у меня выступил холодный пот*. С невероятной силой я попытался взять себя в руки — и тут под сводами подземелья раздался *резкий, свистящий звук*, и прямо перед моими глазами возникло нечто… <…> я увидел перед собой фигуру, абсолютно лишенную очертаний <…> *ледяной ужас ада* остриями кинжалов вонзился мне в грудь»; «Несмотря на все <…> усилия, *его тоже охватил чудовищный, не ведомый ему доселе страх*, но все же ему удалось не потерять сознания. За *ужасным свистящим* звуком <…> вскоре последовал *дикий зловещий хохот*» (Гофман 2000: 29–30).

— “Можешь, но с условием”.

Антонио задумался. “Согласен! — сказал он, наконец, — но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания: тайна природы будет мне открыта?” “Будет, — отвечал дух. — Следуй за своею тенью”[12]. <…> Антонио шел, как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее *мраком*. Все было тихо, ничто не шевелилось… Наконец земля под ним вздрогнула… *Яркие огни стали вылетать из нее одни за другими*; вскоре наполнился ими воздух: они метались около Антонио, метались миллионами; но свет их не разогнал тьмы, его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными правильными рядами окружили его на воздухе. “Готов ли ты?” — вопросил его голос, выходящий из-под земли. “Готов”, — отвечал Антонио.

Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся *безобразный бес* в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую такого же демона. Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов! Ведьма и демон занимали место кумы и кума, отрекаясь за неофита Антонио от Бога, добра и спасения; *адский хохот* раздавался по временам вместо пения; страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятия гибели. Голова кружилась у Антонио; наконец *прежний свист* раздался; все исчезло. Антонио упал в обморок, утро возвратило ему память, он взглянул на Божий мир — глазами демона: так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну; он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением» (Баратынский 1832: 176–178).

Как выясняется, описанные в «испанской» рукописи события имели мнимый характер, представляли собой мистификацию сослуживцев и возлюбленной Опальского — Марии, воспользовавшихся

[12] Бьондетта также обещает Альвару поделиться с ним «знаниями, недоступными прочим людям», но взамен требует «полностью отдаться» ей (Казот 1967: 137).

в своем спектакле казотовскими аксессуарами, «цитатный» характер которых не был осознан склонным к фантастическому преображению реальности героем[13].

Жертвой мистификации оказывается и опрометчиво вступивший в контакт с Вельзевулом казотовский герой. «Вы вызвали злого духа, вы сами неосторожно подсказали ему, под какой личиной легче всего будет обмануть и погубить вас», — подводит итог произошедшему доктор Кебракуэрнос (Казот 1967: 159–160)[14]. Меняя облики, дьявол играет роли собачки, оперной певицы, юного пажа, неотразимо привлекательной красавицы Бьондетты. Он создает двойников знакомых Альвара, несуществующее селение и его обитателей, устраивает пышные празднества… Добиваясь полной власти над Альваром, Вельзевул, по словам Кебракуэрноса, причудливо сочетает «гротескное и страшное — ребяческую затею со светящимися улитками и ужасный вид своей отвратительной головы; наконец, истину — с обманом, сон с явью. Так что ваш смятенный ум перестал различать что бы то ни было, и вы смогли поверить, будто поразившее вас видение было не столько следствием злого умысла, сколько порождением вашего воспаленного

---

[13] «Все объяснилось. Марья Петровна была донна Мария, а сам Опальский, превращенный из Антона в Антонио, страдальцем таинственной повести. Вот как было дело: полк, в котором служил Опальский, стоял некогда в их околотке. Марья Петровна была то время молодой прекрасной девицей. <…> она заметила, что мысли его были не совершенно здравы: разговор о таинствах природы, сочинения Эккартсгаузена навели Опальского на предмет его помешательства, которого до той поры не подозревали самые его товарищи. Это открытие было для него пагубно. Всеобщие шутки развили несчастную наклонность его воображения <…> Он решительно предался магии. Офицеры и некоторые из соседственных дворян выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи: дворовый мальчик явился духом, Опальский до известного места в самом деле следовал за своею тенью. На это употребили очень простой способ: сзади его несли фонарь. Марья Петровна в то время была довольно ветрена и рада случаю посмеяться» (Баратынский 1832: 183–184).

[14] Имя доктора — *Кебракуэрнос* — по-испански означает «ломающий рога» (иносказательно — «побеждающий дьявола») (Жирмунский 1967: 286).

мозга» (Казот 1967: 160). И все же окончательное падение Альвара тоже оказывается очередным обманом. «Несомненно, ваш враг отступил, — констатирует Кебракуэрнос. — Правда, он соблазнил вас, но ему не удалось окончательно вас развратить. Ваши намерения, ваши угрызения совести спасли вас с помощью поддержки, оказанной вам свыше. Таким образом, его мнимая победа и ваше поражение были для вас и для него всего лишь иллюзией» (Казот 1967: 160).

Осознание иллюзорности пережитого приходит и к герою Баратынского, когда, незадолго перед смертью, он обретает верное чувство реальности: «Дубровин <…> поехал к Опальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. <…> “Любезный Дубровин, — сказал он ему, — кончина моя приближается: мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. *От какого ужасного сна я проснулся!..* Вы, верно, заметили расстройство моего воображения… Благодарю вас: вы не употребили его во зло, как другие, — вы утешили вашею дружбою бедного безумца!..”» (Баратынский 1832: 185–186).

Оценка Опальским прожитой им жизни как кошмарного сна вновь сближает «Перстень» Баратынского с «Влюбленным дьяволом». Мотив сновидения проходит через все произведение Казота, приобретая по ходу повествования различные значения. Путешествуя с Бьондеттой, Альвар дважды впадает в неестественный по своей продолжительности «летаргический» сон. Спустя некоторое время он видит пророческий сон, в котором едва не погибает от руки прекрасной бесовки. Мотивировка сном не раз выступает в повести Казота как возможный (но всегда недостаточный) способ рационального объяснения сверхъестественных или просто загадочных событий. Но наиболее важными оказываются охватывающие героя «Влюбленного дьявола» сомнения в подлинности происходящего: «Мотив сновидения, нередко выступающий в более ранних произведениях Казота как реальное истолкование отдельного фантастического происшествия, превращается здесь в целую концепцию, в способ истолкования жизни вообще — грань между иллюзией и действительностью стирается» (Жирмунский,

Сигал 1967: 270)[15]. Не находя объяснений своему «непостижимому» приключению, Альвар размышляет: «Все это кажется мне сном, <…> но разве вся жизнь человеческая что-либо иное? Просто я вижу более удивительный сон, чем другие люди, — вот и все» (Казот 1967: 136).

Приведенная цитата представляет собой аллюзию на драму П. Кальдерона «Жизнь есть сон» (*La Vida es sueño*)[16]. Важность этого произведения для разрабатываемой во «Влюбленном дьяволе» концепции реальности несомненна. Кальдероновские мотивы отчетливо звучат и в повести Баратынского[17]. Но если для французского

---

[15] Ср.: «Альвар колеблется, спрашивает себя (как и читатель вместе с ним), правда ли все, что с ним происходит, реально ли то, что его окружает <…> или же это просто иллюзия, принявшая в данном случае форму сновидения» (Тодоров 1997: 17).

[16] См. Зенкин 1999: 725. Близкие к приведенной цитате суждения возникают в драме Кальдерона многократно: «…в этом мире каждый, / Живя, лишь спит и видит сон»; «Что жизнь? Безумие, ошибка. / Что жизнь? Обманность пелены. / И лучший миг есть заблужденье, / Раз жизнь есть только сновиденье, / А сновиденья только сны»; «Без заблуждений существует / Кто сознает, что жизнь есть сон»; «Так жизнь и свет на сон похожи, / Что правда кажется обманом, / Обман является как правда, / И столь различья мало в них, / Что разрешить необходимо / Недоуменье: то, что видишь, / Что доставляет наслажденье, / Есть правда или это ложь?» (Кальдерон 1989: 45, 90, 97, 119) и т. д. Как особого рода аллюзия на Кальдерона может быть воспринято и странное на первый взгляд упоминание имени испанского драматурга уже в начале повести Казота: его носит дух, призываемый некромантом Соберано, чтобы раскурить его трубку («…он <…> произнес громким голосом: “Кальдерон, возьми мою трубку, зажги ее и принеси мне”. Не успел он вымолвить эти слова, как трубка исчезла и вернулась вновь уже зажженной, прежде чем я мог отдать себе отчет, как это произошло, или спросить, кто такой этот таинственный Кальдерон, к которому было обращено приказание» (Казот 1967: 108)). Вместе с тем, в этом упоминании можно увидеть и ироническую игру с именем драматурга: автор, помимо прочих произведений, пьесы «Волшебный маг» (*El mágico prodigioso*), в которой главный герой заключает сделку с дьяволом, чтобы овладеть тайными знаниями, превращается в духа, прислуживающего каббалисту.

[17] Баратынский мог быть знаком с драмой Кальдерона как по ее французским версиям, так и по переводу брата своего близкого в то время друга И. В. Киреевского — Петра Васильевича. Еще в 1828 г. тот опубликовал в «Московском вестнике» переведенный им фрагмент комедии

писателя ключевой оказывается идея смешения, неразличимости действительности и грезы, то в «Перстне» на передний план выдвигается кальдероновская ситуация некоего сомнительного в своей подлинности, «пригрезившегося» события, которое тем не менее дает человеку возможность «выказать» собственную природу, «испробовать свой дух» (Кальдерон 1989: 44) и тем самым становится частью его духовного опыта, важным жизненным уроком («Моим учителем был сон» (Кальдерон 1989: 133)).

Обнаружив, что победа Вельзевула была лишь ночной грезой, обманом чувств, герой «Влюбленного дьявола» испытывает облегчение: «"Неужели это был сон? Неужели возможно *такое счастье*, что все это было *не более как сон*?"» (Казот 1967: 157). Напротив, в повести Баратынского миражность произошедшего не снимает с Опальского нравственной ответственности, не освобождает его от вины за грех отступничества — пусть даже совершенного только в помыслах: «Преступления мои велики <…> *хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю: я знаю, что я продал вечное блаженство за временное…* Но и *мечтательные страдания мои были велики!* Их возложит на весы свои Бог милосердый и праведный» (Баратынский 1832: 186).

В заключение стоит отметить и другие, очевидные различия между произведениями Казота и Баратынского. Важнейшее из них заключается в отсутствии у Баратынского само́й темы «влюбленного дьявола», принявшего облик неотразимо привлекательной девушки. По сравнению с повестью Казота роль возлюбленной героя в сюжете «Перстня» минимизирована. Если в падении Альвара ключевую роль играет «плотский соблазн, постепенно приобретающий характер наваждения» (Жирмунский, Сигал 1967: 270)[18], то у Баратынского эта мотивировка полностью отсутствует. Финал

испанского писателя «Трудно стеречь дом о двух дверях» и вслед за тем перевел его основные пьесы (см. Коган 1989: 713).

[18] Ср.: «"Влюбленный дьявол" дает нам недвусмысленный пример тождества дьявола и женщины, точнее, сексуального влечения <…> дьявол — это женщина как предмет желания» (Тодоров 1997: 96–97).

повести Казота не оставляет сомнений в том, что сверхъестественное действительно вторглось в жизнь ее героя, в «Перстне» фантастические события оказываются мнимыми. Внося в разрабатываемую Баратынским тему греховного стремления к запретному знанию, готовности контакта с инфернальными силами дополнительные нюансы, «Влюбленный дьявол» Казота все же не играет в системе претекстов «Перстня» первостепенной роли, является лишь одной из составных частей литературного фона повести Баратынского.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баратынский 1832 — *Баратынский Е.* Перстень // Европеец. 1832. Ч. 1. № 2. С. 165–187.
2. Вольперт 2004 — *Вольперт Л. И.* Казот // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XVIII–XIX. Пушкин и мировая литература: Материалы к «Пушкинской энциклопедии». СПб., 2004. С. 158.
3. Вольперт 2010 — *Вольперт Л. И.* «Демон» Лермонтова и французская литературная традиция (Жак Казот и Альфред де Виньи) // Вольперт Л. И. Лермонтов и литература Франции. Изд. 3-е, испр. и доп. Тарту, 2010. С. 83–87.
4. Гофман 2000 — *Гофман Э. Т. А.* Огненный дух // Гофман Э. Т. А. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 6. М., 2000. С. 7–44.
5. Жирмунский 1967 — *Жирмунский В. М.* Примечания // Уолпол Г. Замок Отранто. Казот Ж. Влюбленный дьявол. Бедфорд У. Ватек. Л., 1967. С. 286–287 (серия «Литературные памятники»).
6. Жирмунский, Сигал 1967 — *Жирмунский В. М., Сигал Н. А.* У истоков европейского романтизма // Уолпол Г. Замок Отранто. Казот Ж. Влюбленный дьявол. Бедфорд У. Ватек. Л., 1967. С. 249–284 (серия «Литературные памятники»).
7. Зенкин 1999 — *Зенкин С.* Комментарии // INFERNALIANA: Французская готическая проза XVIII–XIX вв. М., 1999. С. 724–726.
8. Казот 1967 — *Казот Ж.* Влюбленный дьявол. Испанская повесть // Уолпол Г. Замок Отранто. Казот Ж. Влюбленный дьявол. Бедфорд У. Ватек. Л., 1967. С. 105–162 (серия «Литературные памятники»).
9. Кальдерон 1989 — *Кальдерон де ла Барка П.* Жизнь есть сон // Кальдерон де ла Барка П. Драмы: в 2 кн. Кн. 2. М., 1989. С. 5–134 (серия «Литературные памятники»).
10. Карпов 1996 — *Карпов А. А.* «Перстень» Баратынского и «Повести Белкина» // Концепция и смысл: Сборник статей в честь 60-летия профессора В. М. Марковича / под ред. А. Б. Муратова, П. Е. Бухаркина. СПб., 1996. С. 171–185.

11. Коган 1989 — *Коган Г. А.* Материалы по библиографии русских переводов Кальдерона // Кальдерон де ла Барка П. Драмы: в 2 кн. Кн. 2. М., 1989. С. 713–731.
12. Модзалевский 1910 — *Модзалевский Б. Л.* Библиотека А. С. Пушкина. (Библиографическое описание). СПб., 1910.
13. Оксман 1924 — *Оксман Ю. Г.* Может ли быть раскрыт план «Влюбленного беса»? // Атеней. Кн. 1–2. Л., 1924. С. 166–168.
14. Осповат 1986 — *Осповат Л. С.* «Влюбленный бес»: Замысел и его трансформация в творчестве Пушкина 1821–1831 гг. // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 12. Л., 1986. С. 175–199.
15. Поддубная 1994 — *Поддубная Р. Н.* «Пиковая дама» в контексте европейской литературно-философской традиции (мотив игры) // Русская филология: Украинский вестник: республиканский научно-методический журнал, 1994. № 4. С. 17–21.
16. Тодоров 1997 — *Тодоров Ц.* Введение в фантастическую литературу. М., 1997.
17. Цявловская 1960 — *Цявловская Т. Г.* «Влюбленный бес»: (Неосуществленный замысел Пушкина) // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 3. М.; Л., 1960. С. 111–130.
18. Шульц 1985 — *Шульц Р.* Пушкин и Книдский миф. München, 1985.
19. Шульц 1987а — *Шульц Р.* Пушкин и Казот. Вашингтон, 1987.
20. Шульц 1987б — *Шульц Р.* О внутренней связи двух «Домиков» Пушкина: (К теме «Пушкин и Казот») // Записки Русской академической группы в США. 1987. Т. 20. С. 115–139.

Андрей Алексеевич Петров
(Санкт-Петербург)

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА: ШТРИХ К КАРТИНЕ

В 90-е гг. прошлого столетия чрезвычайно актуальной стала проблема взаимовлияния православной Церкви и русской литературы. Тому видится несколько причин: и наконец обретенная возможность свободно и открыто говорить о религиозном начале русской культуры, которое вынужденно недооценивалось в эпоху государственного атеизма, и состояние духовного кризиса, в котором оказалось общество периода перемен, желание вновь обрести «твердую почву» взамен рухнувшего идеологического фундамента. Первой значительной работой (написанной одновременно с более частными статьями В. А. Котельникова), посвященной этой проблеме, стала монография Петра Евгеньевича Бухаркина «Православная Церковь и русская литература в XVIII–XIX веках» (1996). Одно из главных и несомненных достоинств этой книги, отличающее ее от большинства опубликованных в то время работ, как-то касающихся проблем церковности литературы, — ее абсолютная академичность, научная беспристрастность и точность (в том числе терминологическая, связанная с принципиальным разделением категорий христианства и церковности), благодаря чему эта монография до сих пор остается одной из самых авторитетных и цитируемых из трудов, посвященных этой теме. Даже такая фундаментальная работа является, однако, вынужденно фрагментарной, сама же проблематика и сегодня выглядит далеко не исчерпанной (и, конечно, неисчерпаемой). Отсюда — возможность дополнять написанную «картину» разного рода штрихами, на что и претендует эта небольшая статья.

Ограничивая вслед за П. Е. Бухаркиным предмет исследования конкретными точками соприкосновения литературы и Церкви, не касаясь проблем религиозности как таковой («изучать не общехристианские воззрения писателей, а их взаимодействие конкретно с русским православием и его духовным укладом, и только с ним» (Бухаркин 1996: 11)), неизбежно сталкиваешься с вопросом отчасти даже банальным: насколько русская литература вообще «замечала» церковную жизнь, осмыслила ли она ее в полной мере? Рискуя излишне обобщить, скажем, что священнослужитель, вообще человек Церкви героем русской литературы XVIII–XIX вв. так и не стал. Из этой закономерности, конечно, есть ряд исключений — старец Зосима у Достоевского, отец Сергий у Л. Н. Толстого (при всем «антижитийном» (Гродецкая 2000: 245), в духе позднего Толстого, начале этого текста), герои рассказов Чехова («Архиерей», «Святой ночью», «Кошмар») и дьякон из его повести «Дуэль», поп из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», многочисленные персонажи произведений Лескова, пожалуй, наиболее всего из русских классиков тяготевшего к изображению церковного быта, и др. Несколько увеличить этот список можно, обратившись к словесности «второго ряда», однако и она не дала целостный тип священнослужителя. «Виновны» в том и русская интеллигенция, уверенная, что, по выражению канонизированного критика Белинского, «гнусное русское духовенство» «находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа» (Белинский 1952: 503), и набирающая темп секуляризация (Ореханов 2016: 45), и сложное отношение Церкви к светской литературе. По справедливому заключению А. Н. Розова, даже обращавшиеся к образам священников «писатели, как правило, не изображали ни дьякона как служителя церкви, ни его взаимоотношений с прихожанами. Они рассказывали о нем как о человеке, прежде всего, в обыденной жизни <…> Поэтому образы созданных ими дьяконов не показывали общей картины их служения Церкви» (Розов 2023: 129).

Образы людей Церкви оказываются, однако, востребованы в том случае, когда за ними закрепляется ясная сюжетная функция.

Так иногда происходит в антинигилистической литературе, в которой центральной становится оппозиция русского православия и его врагов, как то в хронике Лескова «Соборяне» (1872) (священники Савелий Туберозов, Захария Бенефактов и Ахилла Десницын против нигилистов Термосесова и Препотенского) и его романе «На ножах» (1870) (отец Евангел против Горданова и Бодростиной), «Кровавом пуфе» (1869–1874) В. В. Крестовского (архиерей Иосаф, монах-отшельник на берегу Волги и старик, ухаживающий за храмом в Гродно, противопоставлены сонмищу нигилистов) и «Тьме Египетской» (1889) (настоятельница монастыря Серафима против секретаря Горизонтова, поклонника Добролюбова и Писарева) вкупе с последующими частями «еврейской» трилогии этого писателя (в особенности — романом «Торжество Ваала» (1892), где отец Никандр и отец Макарий противопоставлены помещику-нигилисту Агрономскому и его сподвижникам). В статье будет рассмотрено произведение, которое только косвенно (через фигуру автора, написавшего, по мнению ряда исследователей, первый русский антинигилистический роман «Асмодей нашего времени» и вообще так или иначе обращавшегося к этой проблеме в большинстве своих текстов) соприкасается с антинигилистикой, — повесть В. И. Аскоченского «Записки звонаря» (1861, отд. изд. — 1862). Этот текст, не занимающий центральных позиций даже в творческом наследии самого Аскоченского, как представляется, очень показателен с точки зрения образа героя, в котором трансформируется один из популярнейших литературных типов XIX столетия.

Герой повести, написанной в форме дневниковых записок, — монах, старик-звонарь, «маленький человек» (сопоставимый еще с лесковскими праведниками, которым будет суждено появиться в будущем). Звонарь необразован, лишен любых романтических стремлений, видит свое предназначение в той однообразной работе, которой занимается. Ему, как сообщается в первых строках произведения, должно было быть, по мысли проходящего мимо кельи незнакомца, «скучно и страшно». Сразу же при этом Аскоченский устами своего героя начинает полемику с гоголевской

традицией: такой персонаж не должен вызывать у читателя жалости («И чего это люди жалеют обо мне? и я ведь не обделен Господом Богом. Не всем одно, а всякому свое: овому талант, овому два, иной полки водит, другой суд судит, тот градом правит, а такой, как я, грешный, на колокольне звонит, — что ж, все, стало быть, при месте» (Аскоченский 2014: 353)). Герой сам охотно признает свою ничтожность, называет себя «неученым стариком», «бестолочем», по монастырскому двору он ходит, согнувшись и смотря вниз, причем из страха быть выбраненным (после того, как прихожанка указала ему на то, что его дело — «глядеть в землю», потому что он «от земли взят» (Аскоченский 2014: 358)). Все это выдает в нем «маленького человека» — маленького в той степени, в какой это может быть свойственно смиренному христианину (причем смирение звонаря не этикетно, он не придумывает себе самоуничижительных определений, а дает их со ссылками на окружающих, чью прямоту признает; например: «Недаром называют меня бестолочем» (Аскоченский 2014: 358)).

Между образом героя и содержанием его «записок» возникает странное напряжение. Текст Аскоченского эклектичен, используя фигуру звонаря, автор зачастую уходит в дидактику, выступая то против «неправильного» церковного звона, то против ночных светских развлечений и т. д. (до того, как собрать «записки» в отдельную повесть, писатель публиковал их по отдельности в номерах своего журнала «Домашняя беседа», скандально известного «обскурантистским» учительским пафосом). «Записки» отличает повышенная цитатность, причем необразованный звонарь между делом выказывает прекрасное знание и богословской литературы (он цитирует Иоанна Лествичника, Каллиста Катафигиота, «Пращицу» архимандрита Питирима, «Новую скрижаль» архиепископа Вениамина (Краснопевкова-Румовского) и т. д., пересыпает речь библейским интертекстом), и отчасти светской поэзии (например, приводится фрагмент духовной оды А. П. Сумарокова «На суету человека»). В таких эпизодах, с одной стороны, звонарь оказывается фигурой условной, его горизонт становится равен авторскому,

с другой же — проявляется обратная сторона его необразованности. Не разбираясь в светской науке и искусстве (что для Аскоченского как для поклонника идеи «естественного человека», чуждого «прогресса смрада» и «изгари западной науки» (Аскоченский 1869: 209) — несомненный плюс), он оказывается знатоком богословия и религиозной словесности. В произведении используется двойная оптика: «маленький человек» для мира не является таковым для Бога. В тексте несколько раз возникает антитеза ложного научного знания и подлинного миропонимания звонаря. Например, герой размышляет об устройстве колокольни: «Ради чего это, думаю я, поставлена она так, что внизу шире, а к верху все у́же?» (Аскоченский 2014: 358). «Студентик», к которому он обращается, пытается объяснить это законами «падения да тяготения», однако такое объяснение «мудрено больно» для монаха, чуждого светской образованности. Старик видит в форме строения метафору духовного совершенствования человека: «Широк человек перво-наперво, когда только приступает к богоугодному житию: тут у него и фундаменты разные, прикрепляющие к земле, и камни тяжелые, естество его облегающие, а поднимется маленько в подвиге молитвенном — станет потоньше и полегче, и чем выше, все тоньше, все легче, так что к концу-то делается стрелка стрелкой, вон как шпиц, сияющий с крестом Господним. И уносится он в лазурь небесную, и стоит там, не касаясь земли» (Аскоченский 2014: 359). Сам звонарь, находящийся на вершине колокольни, таким образом, оказывается ближе всех к Богу, будучи лишенным «фундаментов».

«Маленький человек», возвышающийся над миром, как романтический герой, — жест Аскоченского, опрокидывающий привычные для культуры оппозиции. Антиромантическое начало в творчестве писателя вообще сильно — начиная с его первого и, по сути, единственного романа «Асмодей нашего времени» (1858), благодаря которому он входит в литературу и обретает популярность. Сам принадлежа к поколению Лермонтова (Виктор Оскошный — такова подлинная фамилия писателя — родился в 1813 г.), Аскоченский одновременно ведет спор внутри одной генерации

и судит романтическую эпоху с позиций реализма (и — в то же время — классицизма, эти два направления соединяются в его произведении в одной точке (Петров 2025)). Байронические Демон и Печорин оборачиваются у него демоном-соблазнителем Асмодеем, нигилистом Пустовцевым, который без всякого романтического флера соблазняет и губит девушку по имени Marie, а после сам кончает с собой в припадке ненависти к мирозданию. Полностью противоположный романтическому герой, которого Аскоченский возводит на освободившуюся уже в 1840-е гг. вершину, конечно, наследует гоголевскому Акакию Акакиевичу, но писатель совершает еще более радикальный «коперниковский переворот» (Бахтин 2002: 56), чем до того Достоевский в «Бедных людях» (даже на уровне формы: если в эпистолярном романе бессловесный до того герой находится в диалоге, то здесь ему доверяется безраздельный монолог).

Мог ли такой герой стать полноценным литературным типом? Он целен, лишен трагического начала, чужд внутренним конфликтам. Его существование легитимизируется его принадлежностью к Церкви, без которой превознесение «маленького человека» было бы невозможным, в любой иерархической структуре он неизбежно занял бы место филистера. Кроме того, сама повесть Аскоченского оказалась слишком специфичной и малохудожественной, чтобы бросить серьезный вызов традиции, однако несомненно, что она наметила путь, по которому национальная культура теоретически могла пойти (и кто знает, куда выйти). После катастрофы 1917 г. В. В. Розанов обвиняет в случившемся именно русскую литературу: «После того, как были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова (“Обломов”), администрация у Щедрина (“Господа ташкентцы”) и история (“История одного города”), купцы у Островского, духовенство у Лескова (“Мелочи архиерейской жизни”), и, наконец, вот самая семья у Тургенева, русскому человеку не осталось ничего любить, кроме прибауток, песенок и сказочек. Отсюда и произошла революция» (Розанов 1918: 9). Сегодня, в эпоху побеждающего антигуманизма, о катастрофичности русской истории и об ответственности русской литературы за многие ее катастрофы думается вновь…

ЛИТЕРАТУРА

1. Аскоченский 1869 — *Аскоченский В. И.* Ужасное открытие // Замай В. [Аскоченский В. И.] Басни и отголоски. СПб., 1869. С. 209–210.
2. Аскоченский 2014 — *Аскоченский В. И.* Записки звонаря // Аскоченский В. И. За Русь святую! М., 2014. С. 352–371.
3. Бахтин 2002 — *Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 6. М., 2002. С. 5–301.
4. Белинский 1952 — *Белинский В. Г.* Письмо к Н. В. Гоголю от 15/3 июля 1847 г. // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: [в 14 т.]. Т. 8. Статьи. М., 1952. С. 500–510.
5. Бухаркин 1996 — *Бухаркин П. Е.* Православная Церковь и русская литература в XVIII–XIX веках. СПб., 1996.
6. Гродецкая 2000 — *Гродецкая А. Г.* Ответы предания: жития святых в духовном поиске Льва Толстого. СПб., 2000.
7. Ореханов 2016 — *Ореханов Г. (протоиерей).* Лев Толстой. «Пророк без чести»: хроника катастрофы. М., 2016.
8. Петров 2025 — *Петров А. А.* Аскоченский и роман-комедия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2025. [В печати]
9. Розанов 1918 — *Розанов В. В.* Таинственные соотношения // Книжный угол. 1918. № 4. С. 6–9.
10. Розов 2023 — *Розов А. Н.* Образ дьякона в русской литературе второй половины XIX — начала XX в. В оценке церковной журналистики // Русская литература. 2023. № 2. С. 118–129.

Никита Евгеньевич Косьяненко
(Санкт-Петербург)

ПРОБЛЕМА ПУТИ В ОДЕ Г. Р. ДЕРЖАВИНА «ФЕЛИЦА»

Оде Г. Р. Державина «Фелица» посвящено немало исследований, в каждом из которых так или иначе говорится о противопоставлении ложных жизненных путей истинному (Пумпянский 2000: 92–94; Гуковский 1939: 339, 347, 351, 355; Благой 1957: 22–30; Серман 1967: 56–65; Серман 1973: 80–89; Западов 1979: 190–192; Алексеева 2005: 330–334; Проскурина 2006: 195–237; Пономарева 2010: 196–211; Щеглов 2014: 168–189; Golburt 2014: 34–55). Однако при внимательном чтении произведения обнаруживается ряд интересных аспектов этой проблемы, которые прежде оставались без внимания.

Отношение «Фелицы» к «Сказке о царевиче Хлоре» Екатерины II можно охарактеризовать словами Л. В. Пумпянского: «…ода входит в чужую, не ею придуманную замысловатую аллегорию, толкует ее, поддерживает фикцию до конца» (Пумпянский 2000: 94) и, хочется продолжить, весьма существенно ее усложняет, что ясно прослеживается на примере важнейшего для обоих текстов мотива пути.

Созданная императрицей иносказательная картина — трудная дорога на гору к розе без шипов как обретение добродетели — воспроизводится в самом начале оды:

Богоподобная царевна
Киргиз-Кайсацкия орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высоку гору,
Где роза без шипов растет,

Где добродетель обитает, —
Она мой дух и ум пленяет,
Подай найти ее совет.

Подай, Фелица! наставленье:
Как пышно и правдиво жить,
Как укрощать страстей волненье
И счастливым на свете быть?
Меня твой голос возбуждает,
Меня твой сын препровождает;
Но им последовать я слаб.
Мятясь житейской суетою,
Сегодня властвую собою,
А завтра прихотям я раб[1].

Приведенные строфы объединены мотивом следования. Корень *-след-* повторяется в третьем («Открыла верные *следы*») и семнадцатом стихах («Но им *последовать* я слаб»). Действительно, согласно тексту монаршей сказки, к розе-добродетели Хлор идет по следам тех крестьян, мещан, вельмож, царей и цариц, которые уже преуспели на этом пути (Екатерина II 1893: 105). По примеру Хлора, из желаний собственных духа и ума, то же самое хотел бы сделать и державинский мурза. И, на первый взгляд, у него есть все, чтобы повторить путь царевича: и «голос» Фелицы, которому в сказке соответствует «совет добрый», и сопровождение ее сына — Рассудка. Однако этого недостаточно: мурза слаб и не может последовать им. Значит, проблема в оде Державина заключена вовсе не в незнании образца, а в неспособности ему подражать. Существенно, что герой заведомо не готов отказаться от своего привычного образа жизни. Хотя «роскошь угнетает», он желал бы стать на верный путь, не лишаясь ее, почему и задается вопросом: «Как пышно *и* правдиво жить?» Но в сказке Екатерины обретение

[1] Здесь и далее стихотворение цитируется по изданию: (Державин 1868: 129–149). Курсив везде мой. — *Н. К.*

настоящего счастья просто несовместимо с роскошной жизнью султана Брюзги и мурзы Лентяга. Следовательно, испрашиваемое в оде «наставленье» не равно уже полученному в сказке.

С третьей строфы «Фелицы» начинает развертываться противопоставление единственно верного жизненного пути множеству ложных. Оно также взято из текста Екатерины, где по прямой и краткой дороге добродетели «не все ходят», потому что «останавливаются или сбиваются» на других дорогах, которых множество: «иные прямо лежащие, иные с кривизнами, иные перепутанные» (Екатерина II 1893: 105)[2]. Схожую картину в державинской оде создают различные глаголы движения. Их можно подразделить на несколько групп.

Так, некоторые из этих глаголов обозначают *направленные движения*: «в клоб не ступишь и ногой», «к духам в собранье не въезжаешь», «не ходишь с трона на Восток». Эта группа формально относится к тому, чего не делает Фелица, однако, в сущности, перечисляет занятия ее подданных: посещение клубов и масонских лож, праздные мечтания.[3] К перечисленному ряду, видимо,

---

[2] Сказка Екатерины выражает распространенную к тому времени дидактическую мысль, восходящую, вероятно, к Яну Амосу Коменскому. к такому выводу можно прийти, сопоставив содержание текста с аллегорической картиной CIX («Этика») из детской энциклопедии «Мир чувственных вещей в картинках», созданной чешским педагогом в 1658 г.: юноша выбирает между путями, на которые указывают ему фигуры, олицетворяющие порок и добродетель. В пояснении к изображению сказано: «Следуй туда, куда ведет добродетель, через терпение к возвышению, к замку чести. Держись среднего и прямого пути, — здесь для тебя наиболее безопасная дорога. Берегись свернуть с правой тропы. Страсти, этого необузданного коня, укрощай уздой, чтобы не полететь в пропасть. Берегись уклониться на левую тропу, словно ленивый осел…» (Коменский 1957: 220–221). Упомянутому замку чести, расположенному на возвышении, соответствует в сказке Екатерины роза без шипов на высокой горе. В обоих текстах добродетель связывается с прямым путем, в то время как уклонения от него символизируют различные пороки, которые к тому же воплощены в персонажах: у Коменского — в коне и осле, у Екатерины — в султане Брюзге и мурзе Лентяге. За указание на параллель между «Сказкой о царевиче Хлоре» и книгой Коменского автор статьи благодарит Н. А. Гуськова.

[3] См. комментарий Г. Р. Державина: «“К духам в собранье не въезжаешь”. — Императрица не жаловала масонов и в ложу к ним не ездила, так, как делали многие знатные» (Державин 1868: 134). Также и стих «Не

следует прибавить и такие глаголы в первом лице, которые касаются мурзы: «скачу к портному по кафтан», «лечу на резвом бегуне», «езжу на охоту», «на голубятню лажу».

Наряду с этими движениями, всегда направленными *не туда* по отношению к розе без шипов, есть и другое — скорее, неорганизованное — разнонаправленное или спонтанное движение: «Я под качелями гуляю; / в шинки пить меду заезжаю», ведь даже если предположить, что у самого гулянья в карете есть какой-то маршрут, чтобы заезжать в шинки, от него нужно постоянно уклоняться. Это хорошо описывает путь пашей, угнетенных роскошью: они, как в «Сказке о царевиче Хлоре», «провождают время в бессчетных забавах» (Екатерина II 1893: 104), минуя прямой путь добродетели, а значит — и подлинного счастья.

В связи со сказанным примечательно, что мурза Державина проводит дни все-таки не тяготясь скукой, как персонажи Екатерины, но «мятясь житейской суетою». «Словарь русского языка XVIII в.» дает четыре значения глаголу *мястись* (Словарь 2003: 111). Хотя цитата из «Фелицы» в качестве примера в словарной статье приведена для значения «быть в смятении, тревоге, сильном смущении», имея в виду уже сделанные наблюдения, можно сказать, что в оде это слово содержит в себе также еще одно из указанных значений, пусть поначалу неощутимое, но реализующееся в развертывании текста: «быстро и беспорядочно двигаться, метаться; находиться в движении». Персонаж Державина одновременно подвержен внутреннему беспокойству («страстей волненью») и настоящему пространственному метанию. Выразительный пример тому представлен в пятой строфе:

А я, проспавши до полудни,
Курю табак и кофе пью;

ходишь с трона на Восток», согласно примечаниям Г. Н. Ионина, отсылает к называемым «востоками» масонским ложам (Державин 2002: 559). Однако Я. К. Грот предполагал в этой строке намек на то, что императрица, в отличие от Потемкина, не мечтает о завоевании Персии и Индии (Державин 1868: 134–135).

Преобращая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою:
То плен от персов похищаю,
То стрелы к туркам обращаю;
То, возмечтав, что я султан,
Вселенну устрашаю взглядом;
То вдруг, прельщаяся нарядом,
Скачу к портному по кафтан.

Разросшиеся до вселенских масштабов мечтания мурзы внезапно обрываются послушным мелкому желанью реальным движением. Такая непоследовательность в ходе нерасчленимых, но и несогласованных мыслей и действий, эта «склонность к премене», порождает каждодневный хаос и, внутренне присущая душе как слабость, не позволяет преодолеть его самостоятельно.

И действительно, в некоторых фрагментах текста видно, что образ мурзы нередко связывается с фигурой круга. Время персонажа циклично и полностью отдано череде одних и тех же привычек: «Подобно в карты не играешь, / Как я, *от утра до утра*». Выход из этой череды мурза не может даже представить, поскольку само воображение героя ограничено пределом пустых выдумок: «Преобращая[4] в праздник будни, / *Кружу* в химерах мысль мою». Все это лишь подчеркивает тщетность бегства «разврата за мечтами», противоположного хождению «путями света».

Интересно, что и в «Сказе о царевиче Хлоре» упоминается круг: «Наконец, мужчины и женщины, взяв друг друга за руки, сделали около Хлора и его проводника круг, начали плясать и скакать, и не пускать их далее; но пока вкруг вертелись, Хлора под руку ухватил Рассудок, и выбежали из круга так скоро, что в кругу вертевшиеся не могли их удержать» (Екатерина II 1893: 106). Но, если собственный рассудок не способен вывести державинского мурзу из порочного круга, как эта проблема решается в оде?

---

[4] Уже слово *преобращать* содержит в себе *оборот*, сама природа праздника здесь связывается с кружением.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть, как в державинском тексте явлен истинный путь. Во-первых, праздному метанью во все стороны он противостоит как скромный и строгий, посвященный трудам на благо подданных уклад жизни Фелицы: «*ток*» «полезных дней» — определение, само собой подразумевающее организованность, направленность движения. Так среди всех противопоставлений движения в оде зарождается и вечная антитеза: *круга*, с которым соотносится существование мурзы, и *вектора*, каким является «путь добродетели прямой». Во-вторых, в строках «Мурзам своим не подражая, / *Почасту ходишь ты пешком*» поэт, кажется, намеренно избавляется от каких-либо отвлеченных значений и аллегорический путь сказки будто *воплощается* — в частое хождение пешком, ставшее первым, что в быту отличает царевну от ее вельмож. Следует заметить, что к добродетели вообще вряд ли возможно ехать в карете, поскольку эта дорога предполагает усилие воли и самосовершенствование. Однако, начавшись как буквальное хождение, перемещение в физическом пространстве, путь к добродетели постепенно становится в оде все более и более абстрактным. Изменение происходит уже в четвертой строфе. Перечислив все, к чему не причастна царевна, поэт наконец говорит: «*Но, кротости ходя стезею,* / Благотворящею душою / Полезных дней проводишь ток». Союз *но* одновременно противопоставляет здесь и занятия персонажей, и два стилистических регистра оды, в которых говорится о разных жизненных путях: *сниженный*, насыщенный бытовой конкретикой, и *возвышенный*, исполненный отвлеченных категорий. Только занятия царевны описываются в обоих регистрах, причем соблюдается градация: в указанных строках сниженный стиль сменяется возвышенным. Описания жизни вельмож, напротив, не выходят за пределы сниженного стиля. Не случайно далее в тексте нет никаких указаний на быт Фелицы, в то время как повседневной жизни пашей отведены следующие шесть строф.

Высказанные замечания можно подтвердить наблюдениями И. З. Сермана: «Условно можно сказать, что поэтическая мысль державинской оды располагается в системе определенных представлений, взятых из различных сфер жизненного опыта. Этих

основных сфер три: идеология, история, частная жизнь. Каждая из этих сфер получает у него в оде свое место, свои средства выражения и особую композиционно-конструктивную роль. <…> Все три сферы его поэтического интереса в этой оде представлены (истина, история, частная жизнь), но в очень своеобразном сочетании. “Я”, от имени которого ведется одический рассказ, собирательно, оно принадлежит и самому поэту и многочисленным персонажам из придворного окружения, которых поэт контрастно Фелице изображает погруженными целиком, или почти целиком, в сферу частной жизни, только некоторые из них действуют в сфере истории. Зато сама Фелица, чуть-чуть причастная быту, действует в истории как служительница истины» (Серман 1973: 88–89).

До тринадцатой строфы эта область истины, или идеологии, подается в оде через аллегории из монаршей сказки, к которой последовательно отсылают и следующие за описанием привычек мурзы строфы одиннадцатая и двенадцатая:

Таков, Фелица, я развратен!
Но на меня весь свет похож.
Кто сколько мудростью ни знатен,
Но всякий человек есть ложь.
Не ходим света мы путями,
Бежим разврата за мечтами.
Между лентяем и брюзгой,
Между тщеславья и пороком
Нашел кто разве ненароком
Путь добродетели прямой.

Нашел, — но льзя ль не заблуждаться
Нам, слабым смертным, в сем пути,
Где сам рассудок спотыкаться
И должен вслед страстям идти;
Где нам ученые невежды,
Как мгла у путников, тмят вежды?
Везде соблазн и лесть живет,
Пашей всех роскошь угнетает. —

Где ж добродетель обитает?
Где роза без шипов растет?

Эти стихи напоминают об эпизоде сказки, где Хлор впервые не слушает Рассудка, поскольку указанная им дорога кажется царевичу слишком долгой и трудной, и сам отправляется искать путь более короткий. Так же и в этом фрагменте оды Державин патетически утверждает, что даже «ненароком» обретшие путь добродетели «слабые смертные» не могут продержаться на нем. Ощущение безысходности передают строки: «Где ж добродетель обитает? / Где роза без шипов растет?» — преобразованные в вопросы стихи из первой строфы.

Кольцевая композиция первой части оды, напрямую отсылающей к аллегории Екатерины, словно должна отделить этот фрагмент от дальнейшего текста, но именно тринадцатая строфа — иная по образности и настроению: парящая, абстрактная, приближенная, по замечанию Л. В. Пумпянского, к стилю Ломоносова (Пумпянский 2000: 95), — дает решение поставленных прежде проблем[5]. Противопоставление Фелицы мурзе, на которого «весь свет похож», доводится здесь до логического конца тем, что только монархине — «Единой», как Богу, — дана власть над хаосом. Параллелизм в стихах: «*Из разногласия согласье / и из страстей свирепых счастье* / Тебе лишь можно созидать» — подтверждает рассмотренную выше связь несчастья с неорганизованностью, разнонаправленностью. Согласование же этих движений происходит извне — силой царевны, стоящей над всеми «слабыми». Используемый поэтом топос корабля-государства (Казанский, Фролов 2010: 72–138; Пономарева 2010: 200) доводит рассматриваемый мотив пути до последней и самой решительной метаморфозы: «Так кормщик, через понт плывущий, / Ловя под парус ветр ревущий, / Умеет судном управлять». Нельзя не отметить того, насколько удачно этот образ корреспондирует с проблематикой державинской

[5] Поскольку в «Фелице» всего двадцать шесть строф, можно сказать, что на композиционном уровне ода гармонично делится на две симметричные части, соотносящиеся друг с другом как вопрос и ответ.

оды: корабельное плавание невозможно без искусства навигации — того самого указания пути; к тому же оно представляет собой подлинную борьбу со стихией[6]. Жизненный путь отдельного человека связывается воедино с историей государства, которое, в свою очередь, уподобляется в устройстве самой Вселенной. Гармоничное взаимопроникновение этих трех уровней бытия, вероятно, разрешает внутренний конфликт державинского героя.

Итак, в «Фелице» создается парадоксальная модель соотношения общего и частного, при которой несовершенство и хаотическая природа отдельных элементов не мешают гармонии целого. Поэт преломляет созданную Екатериной аллегорию, расширяя и усложняя ее смысл, добавляя к этическому аспекту социально-политический[7]. Своими добродетелями державинская Фелица самоотверженно искупает многочисленные слабости ее придворных, в чем и заключается милосердие установленного ею порядка. Отсюда и новый путь к обретению счастья: сам по себе мурза не способен измениться и стать добродетельным, однако он может быть счастлив как подданный Фелицы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева 2005 — *Алексеева Н. Ю.* Русская ода: Развитие одической формы в XVII–XVIII веках. СПб., 2005.

---

[6] Фигура монарха, усмиряющего воды, также является топосом одической поэзии (Погосян 1997: 103).

[7] Любопытно, что идея трудной дороги к храму благоденствия, которую один за всех своих подданных должен пройти монарх, возникла задолго до «Фелицы» Державина. В 1751 г. Я. Я. Штелин подготовил следующую иллюминацию: «Представляется храм великолепия Российския империи на высокой каменной горе, к которому отнизу узкая, каменистая, ямистая и почти непроходимая стезя между голыми надвислыми камнями и каменными облаками простирается» (Ломоносов 1959: 990). к этому празднеству Ломоносов написал стихи, начинающиеся так: «Желая к храму нас блаженства возвести, / Ты трудной путь сама должна была пройти, / Там горы, хляби там, бугры, стремнины, реки, / Препятствия везде, неслыханны во веки» (Ломоносов 1959: 408). Однако не удалось обнаружить свидетельств какой-либо осведомленности Державина об этой иллюминации или о надписи Ломоносова к ней. По всей видимости, они репрезентируют общие места культуры XVIII в.

2. Благой 1957 — *Благой Д. Д.* Гаврила Романович Державин // Г. Р. Державин. Стихотворения. Л., 1957. С. 5–74.
3. Гуковский 1939 — *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII в. Л., 1939.
4. Державин 2002 — *Державин Г. Р.* Сочинения / ред. Г. Н. Ионин. СПб., 2002.
5. Державин 1868 — *Державин Г. Р.* Сочинения / ред. Я. К. Грот. Т. 1. СПб., 1868.
6. Екатерина II 1893 — *Екатерина II, императрица.* Полное собрание сочинений. Т. 1. 1893.
7. Западов 1979 — *Западов А. В.* Поэты XVIII в.: М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин. М., 1979.
8. Казанский, Фролов 2010 — *Казанский Н. Н., Фролов Э. Д.* «Государство-корабль»: история одной метафоры // Русская судьба крылатых слов. СПб., 2010. С. 72–138.
9. Коменский 1957 — *Коменский Я. А.* Мир чувственных вещей в картинках. М., 1957.
10. Ломоносов 1959 — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи, 1732–1764. М.; Л., 1959.
11. Погосян 1997 — *Погосян Е.* Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730–1762 гг. Тарту, 1997.
12. Пономарева 2010 — *Пономарева М. В.* Стихотворения Г. Р. Державина к Фелице // Окказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII в. СПб., 2010. С. 196–211.
13. Проскурина 2006 — *Проскурина В.* Рождение Фелицы // Проскурина В. Мифы империи: литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006. С. 195–237.
14. Пумпянский 2000 — *Пумпянский Л. В.* К истории русского классицизма // Л. В. Пумпянский. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 30–157.
15. Серман 1967 — *Серман И. З.* Державин. Л. 1967.
16. Серман 1973 — *Серман И. З.* Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
17. Словарь 2003 — Словарь русского языка XVIII в. Вып. 13. СПб., 2003.
18. Golburt 2014 — *Golburt L.* The first epoch: the eighteenth century and the Russian cultural imagination. Madison, 2014.

Евгений Михайлович Матвеев
(Лейпциг)

«ДОРОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ» В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XVIII ВЕКА (НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ)

«Охота к перемене мест» всегда была одним из главных свойств личности П. Е. Бухаркина. Без сомнения, ему очень близко карамзинское восприятие феномена путешествия: «приятно <…> переезжать из одной земли в другую, видеть новые предметы, с которыми, кажется, самая душа наша обновляется»; «путешествие питательно для духа и сердца нашего» (Карамзин 1984: 93, 94) и др. Не случайно Петр Евгеньевич всегда испытывал к фигуре первого знаменитого русского путешественника особый интерес, причем интерес не только к его литературным достижениям, но и к его личности, человеческому облику и нравственной позиции (Бухаркин 1999). Тема или сюжет путешествия / поездки может возникать не только в русских прозаических травелогах XVIII в. [1], но и в лирических стихотворениях этой эпохи[2]. Для этих текстов, в которых нахождение в пути и другие «дорожные» мотивы обычно эксплицитно выражены, характерна специфическая лирическая ситуация путевых размышлений и возникающей в условиях пути рефлексии. Отдельные стихотворения, в которых моделируется ситуация путешествия или поездки, своего рода «дорожные жалобы»[3] XVIII в., будут предметом

---

[1] Обзор обширной литературы о них см. Соловьев 2021. Благодарю Н. А. Гуськова и А. Ю. Соловьева за ряд ценных замечаний и советов по теме настоящей статьи.

[2] Этим «поэтическим» путешествиям, как отмечают исследователи (ср., например, Куликова 2011: 58), уделялось, по сравнению с травелогами, значительно меньше внимания в научной литературе.

[3] Выражение «дорожные жалобы» используется в настоящей статье в метафорическом смысле — как обозначение путевых размышлений, как правило содержащих мотивы пессимизма, недовольства, испытаний,

наших наблюдений в настоящей статье. Какого рода «жалобы» возникают в таких текстах?

1. В стихотворениях, сочиненных в пути, могут присутствовать жалобы на реальные обстоятельства жизни автора. Так, в 1761 г. М. В. Ломоносов пишет стихотворение «Кузнечик дорогой, коль много ты блажен…», заглавие которого прямо сообщает о том, что оно было сочинено в дороге: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 года ехал просить о подписании привиллегии для Академии, быв много раз прежде за тем же». Этот текст является переложением известного анакреонтического стихотворения «К цикаде», однако, как отмечено в комментарии Г. П. Блока, «последний стих (“Не просишь ни о чем, не должен никому”) не имеет никаких, даже отдаленных аналогий в подлиннике и звучит автобиографически: в нем слышна усталость от безуспешных просьб об университетской привилегии и от тяжелых материальных обязательств, которые Ломоносову пришлось принять на себя в связи с устройством Усть-Рудицкой фабрики» (Ломоносов 1959: 1150–1151).

2. В таких текстах могут также моделироваться условия возможных путевых трудностей. Одним из первых «путевых» стихотворений в русской поэзии является «Песенка, которую я сочинил, еще будучи в московских школах, на мой выезд в чужие краи» В. К. Тредиаковского. Хотя этот текст не был написан непосредственно во время путешествия, а лишь незадолго до него (Тредиаковский 1963: 478), в нем воспроизводится ситуация весеннего морского путешествия из Петербурга в Гаагу. Жалобы на трудности морского пути здесь эксплицитно не выражены, но они подразумеваются, так как герой, как бы ободряя тех, кто на них жалуется, призывает «плюнуть на морску скуку», то есть на морскую болезнь (Тредиаковский 1963: 478), а также приводит советы для

сомнений и т. д. Решение вопроса о возможных источниках и претекстах известного пушкинского стихотворения, требующее специальных разысканий, не входило в наши задачи.

безопасного плавания: необходимо держаться берега, знать лоцманское искусство, в нужный момент свернуть паруса (Тредиаковский 1963: 95, 478). Описанное в стихотворении предприятие не осуществилось: как отмечает Б. А. Успенский, «в действительности же путешествие состоялось зимой, когда морем было выехать невозможно: Тредиаковский, очевидно, прибыл в Голландию сухим путем», он «первоначально предполагал уехать весной, однако ему представилась возможность <…> сделать это раньше» (Успенский 2008: 322–323).

3. Более поздним примером развернутых жалоб на условия путешествия является стихотворение И. И. Дмитриева «Путешествие», представляющее собой перевод басни Флориана (Дмитриев 1986: 510): «Начать до света путь и ощупью идти, / На каждом шаге спотыкаться; / к полдням уже за треть дороги перебраться, / Тут с бурей и грозой бороться на пути, / Но льстить себя вдали какою-то мечтою; / Опомнясь, под вечер вздохнуть, / Искать пристанища к покою, / Найти его, прилечь и наконец уснуть…» (Дмитриев 1986: 209–210). Лишь в финале стихотворение входит в аллегорический модус: «Все это значит в переводе: / Родиться, жить и умереть» (Дмитриев 1986: 210). Сара Дикинсон усматривает в этом стихотворении пересечение реального и аллегорического планов: «…текст Дмитриева отличается от французского оригинала, как и от многих других обработок этого мотива, своей конкретностью, подробностями, заставляя думать не об аллегорической поездке, а о действительной» (Дикинсон 2010: 58)[4].

[4] За рамками материала настоящей статьи остается обширный корпус стихотворных текстов XVIII в., в которых тема пути осмысляется аллегорически. Характерным примером является стихотворение Е. И. Кострова «Путь жизни», в котором периоды человеческой жизни обозначены при помощи образов завтрака, обеда, ужина и сна (Костров 1802: 189–190). Такие аллегорические стихи и поэмы также были весьма популярны в лирике русских масонов, для которых «странствование человеческой души» (Сахаров 2000: 83) было одной из важнейших тем. В качестве репрезентативных примеров могут быть названы, например, масонские поэмы М. М. Хераскова «Владимир» и «Пилигримы» (Пиксанов 1947: 77). О мифологеме и об аллегории пути в русской масонской лирике, в частности, см. Маслова 2011: 125; 2013: 113.

4. «Дорожные жалобы» и путевые размышления поэтов второй половины XVIII в. оказываются часто связаны с сентименталистскими и преромантическими мотивами, например, с распространенным противопоставлением города как locus terribilis и деревни как locus amoenus. А. А. Ржевский в «Стансе», сочиненном «1761 года июля 19 дня по выезде из деревни г<осподина> Х<ераскова>»[5] сравнивает «гражданскую суету» города и «деревенскую простоту». Поэт жалуется на необходимость покинуть усадьбу и своего друга и вернуться к жизни в городе: «А я, жалеючи, мой друг, с тобой расстался, / Чтоб жить, утех где нет» (Поэты XVIII в. 1972: 1, 258). Ситуацию прощания с родовым поместьем Богородским, где герой был счастлив, воспроизводит также И. И. Дмитриев в стихотворении «Отъезд» («Простите, Лары и Пенаты!..», 1788). Мирная, счастливая семейная и творческая жизнь в деревне противопоставлена здесь не городу, а военной службе: «Прощайте, дни мои счастливы! / Прощай, отеческий мой дом! / Прощайте, грации и музы! / Увы! невольно сладки узы / я должен с вами перервать… / Прощай, прощай и ты, о Волга! — / о Марс! о честь! о святость долга! / Скачу, скачу… маршировать» (Дмитриев 1986: 188). Как отмечается в комментарии А. М. Пескова и И. З. Сурат, «речь идет об отъезде Дмитриева в действующую армию в Финляндию в 1788 г. во время русско-шведской кампании» (Дмитриев 1986: 509). В стихотворении И. А. Крылова «Отъезд из деревни»[6] противопоставление деревенского locus amoenus и городского locus terribilis выражено наиболее ярко: деревня называется «любезным селом», «недрами спокойства и свободы», город же предстает «мрачным гробом природы», «миром пустым, развратным», где герою предстоит «седую, знойну пыль глотать» (Крылов 1946: 282). В стихотворении М. Н. Муравьева «Путешествие» описан «смежный» сюжет — перемещение из маленького провинциального города

[5] Р. Лауэр говорит о наличии в этом стансе «типичных сентименталистских мотивов» (Lauer 2005: 55).

[6] В комментарии Г. А. Гуковского отмечено, что стихотворение, по-видимому, относится к 1790-м гг. (Крылов 1946: 545).

в столицу, переезд поэта из Вологды в Петербург на речном судне, состоявшийся в сентябре 1772 г. (Западов 1999: 306). Здесь, однако, в отличие от предыдущих примеров, исчезает сама «жалоба»: поэт характеризует оба пространства исключительно с положительной точки зрения: Вологда описана как «спокойный град, где дни мои младые / в сени семейственной вкушали сны златые», а Петербург — как «пышный Петрополь», в котором сбываются «любимые мечты» и берег которого герой «чествует» (Муравьев 1967: 143–145).

Еще одним важным мотивом является мотив разлуки с возлюбленной или с другом. В уже упомянутом стихотворении А. А. Ржевского «Станс» герой жалуется на разлуку с Херасковым. В песне И. А. Крылова, озаглавленной «Мой отъезд» (опубл. в 1793 в журнале «Санкт-Петербургский Меркурий»[7]) и являющейся вольным переводом песенки П. Метастазио (Крылов 1946: 541), герой покидает некое место, в котором он находился вместе с возлюбленной (Анютой). Он мучительно переживает предстоящее расставание и прогнозирует, что героиня, его, вероятно, быстро забудет: семь раз в конце каждой строфы повторяется рефрен «А ты, мой друг, кто знает, / Ты вспомнишь ли меня», в последних двух строфах с небольшой вариативностью (Крылов 1946: 259–260). Печальные размышления, вызванные разлукой с другом (по всей видимости, с Крыловым, который упоминается в тексте), формируют лирический сюжет стихотворения А. И. Клушина «Мой отъезд в феврале месяце» (<1793>): «Я еду — и слеза разлуки / На огненных щеках блестит; / в душе отрава, горесть, муки. / Я еду — голос позвонка / Согласно с сердцем ударяет; / Уныло, томно завывает, / Струям подобно ручейка» (Поэты XVIII в. 1972: 2, 350). Далее, однако, герой борется с овладевшими им мрачны-

[7] В некоторых стихотворениях периода «Санкт-Петербургского Меркурия», в том числе в этой песне, «у Крылова звучат руссоистские мотивы. Он развивает мысли о превосходстве простоты семейной жизни в глуши пред треволнениями светского существования, выражает стремление к природе, к уединению» (Гофман, Западов 1941: 248).

ми мыслями; обращаясь к самому себе, он восклицает: «Тварь слаба, смертный! ты трепещешь, / Разлуки кроткий внемля глас; / Унынья стрелы в сердце мещешь, / На время с другом разлучась. / Что ж будет в час, когда природа / Тебя к началу воззовет; / Когда твой разум, жизнь, свобода / Пред роковой косой падет?» (Поэты XVIII в. 1972: 2, 350) Заканчивается текст вполне дидактически — утверждением, что «смертными» правят страсти и ложные мечты, которые ведут к гибели.

5. В тех произведениях «легкой поэзии», где тема путешествия раскрывается в шуточном контексте, могут моделироваться чужие «дорожные жалобы». Любопытный пример моделирования таких «жалоб» предлагает И. И. Дмитриев в стихотворении «Путешествие N. N. в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия» <конец 1804 — 1805>. Это шуточное описание путешествия В. Л. Пушкина, в котором «подчеркивается свойственное Пушкину уже до отъезда восхищение Европой» (Дикинсон 2010: 58). В первых строках стихотворения: «Друзья! сестрицы! я в Париже! / Я начал жить, а не дышать!» (Дмитриев 1986: 248) — поэт жалуется на скуку российской жизни, противопоставляя ей счастливую и веселую Европу. В финале, однако, это противопоставление снимается признанием: «А родина… все нам мила!» (Дмитриев 1986: 251)

6. Вполне закономерно, что в лирике конца века при описании ситуации нахождения в пути в сознании поэта возникает по ассоциации имя Н. М. Карамзина. Само это имя становится темой «дорожных жалоб». Почитатель первого знаменитого русского путешественника А. И. Тургенев в «Стихах, сочиненных дорогой из Москвы в Петербург» (1796) сетует на грубый глас невежества, который поносит Карамзина, но тщетно: «Вотще невежество свой грубый глас возносит, / Вотще оно тебя, о Карамзин, поносит — / Сердца чувствительны ты будешь век пленять, / И славы можешь ли ты сам другой желать? (Поэты 1790–1810-х гг. 1971: 232).

7. Рассмотренные отдельные стихотворения отчетливо демонстрируют, что «дорожные жалобы» поэтов XVIII в., с одной стороны, почти всегда содержат намеки на обстоятельства реальной

жизни автора или героя стихотворения. С другой стороны, эти «жалобы» приобретают соответствующую эпохе литературную обработку, включаясь в комплекс сентиментальных мотивов или мотивов «легкой поэзии».

В заключение несколько слов о настоящих «Дорожных жалобах». Хотя это пушкинское стихотворение было написано поэтом после его возвращения из поездки в Арзрум (Зубков 2009: 471) и было включено в состав цикла, озаглавленного «Стихи, сочиненные во время путешествия (1829)» (Измайлов 1975: 222), в нем, в отличие от большинства рассмотренных стихотворений XVIII в., не возникает ситуации конкретного путешествия или поездки. У Пушкина перечисление возможных дорожных неприятностей, угрожающих герою смертью, перерастает в символическое и одновременно ироническое описание жизненного пути в целом (Зубков 2009: 472–473). В последних двух строфах стихотворения, изображающего «неприкаянного изгнанника в родной земле, гонимого вперед и вперед без цели, подобно Дантовым страдальцам» (Гуковский 1948: 134), описан позитивный идеал: «То ли дело быть на месте, / По Мясницкой разъезжать, / О деревне, о невесте / На досуге помышлять! // То ли дело рюмка рома, / Ночью сон, поутру чай; / То ли дело, братцы, дома!..» (Пушкин 1963: 3, 126). Здесь возникают важные для Пушкина идеи «пенатов», культа домашнего очага, семьи, домашнего уединения как основ духовной жизни (Франк 1990: 435). С. А. Кибальник называет эти темы «собственно пушкинскими» (Кибальник 1998: 170), однако приведенные нами примеры показывают, что за некоторыми из них (в частности, за восприятием в контексте путевых размышлений деревни как locus amoenus) стояла длительная традиция русского XVIII в. Перекликаются в «дорожных» стихотворениях Пушкина с XVIII в. и отдельные конкретные мотивы: так, например, образ «томно завывающего позвонка» в цитированном выше стихотворении Клушина соответствует известнейшим пушкинским строкам из «Зимней дороги» (<1826>): «Колокольчик однозвучный / Утомительно

гремит» (Пушкин 1963: 2, 344). Не делая пока никаких далеко идущих выводов, отметим, что сопоставление «дорожной» (в широком смысле) лирики Пушкина (а также, вероятно, и других поэтов XIX в.) с «дорожными жалобами» XVIII в. представляются одной из интересных и перспективных задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бухаркин 1999 — *Бухаркин П. Е.* Карамзин — человек и писатель — в истории русской литературы: научный доклад. СПб., 1999.
2. Гофман, Западов 1941 — *Гофман В. А., Западов А. В.* Крылов // История русской литературы: в 10 т. М.; Л.:, 1941–1956. Т. V. Литература первой половины XIX в. Ч. 1. 1941. С. 235–265.
3. Гуковский 1948 — *Гуковский Г. А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1948.
4. Дикинсон 2010 — *Дикинсон С.* Дмитриев и освоение русского пространства // Иван Иванович Дмитриев (1760–1837). Жизнь. Творчество. Круг общения. СПб., 2010. С. 55–65 (Чтения Отдела русской литературы XVIII века. Выпуск 6).
5. Дмитриев 1986 — *Дмитриев И. И.* Сочинения. М., 1986.
6. Западов 1999 — *Западов В. А.* Муравьев Михайла Никитич // Словарь русских писателей XVIII в. Вып. 2. Санкт-Петербург, 1999. С. 305–313.
7. Зубков 2009 — *Зубков К. Ю.* Дорожные жалобы // Пушкинская энциклопедия: Произведения. Вып. 1: А–Д. СПб., 2009. С. 471–473.
8. Измайлов 1975 — *Измайлов Н. В.* Очерки творчества Пушкина. Л., 1975.
9. Карамзин 1984 — *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника / издание подготовили Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л., 1984.
10. Кибальник 1998 — *Кибальник С. А.* Художественная философия Пушкина. СПб., 1998.
11. Костров 1802 — *Костров Е. И.* Полное собрание всех сочинений и переводов в стихах г. Кострова: в 2 ч. Ч. 1. СПб., 1802.
12. Крылов 1946 — *Крылов И. А.* Сочинения. Т. 3: Басни, стихотворения, письма. М., 1946.
13. Куликова 2011 — *Куликова Е. Ю.* Художественная динамика и лейтмотив путешествия в лирике акмеистов // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 37 (252). Филология. Искусствоведение. Вып. 61. С. 57–60.

14. Ломоносов 1959 — *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 8: Поэзия, ораторская проза, надписи, 1732–1764. М.; Л., 1959.
15. Маслова 2011 — *Маслова А. Г.* Пространственно-временные символы и мифологемы масонской поэзии (по материалам масонских журналов 1770–1780-х гг.) // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2011. № 4 (1). С. 124–128.
16. Маслова 2013 — *Маслова А. Г.* Мифопоэтика суточного времени в русской масонской поэзии XVIII в. // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2013. № 1. С. 113–116.
17. Муравьев 1967 — *Муравьев М. Н.* Стихотворения. Л., 1967.
18. Пиксанов 1947 — *Пиксанов Н. К.* Масонская литература // История русской литературы: в 10 т. М.; Л., 1941–1956. Т. IV: Литература XVIII в. Ч. 2. 1947. С. 51–84.
19. Поэты 1790–1810-х гг. 1971 — Поэты 1790–1810-х гг. Л., 1971.
20. Поэты XVIII в. 1972 — Поэты XVIII в. Т. 1–2. Л., 1972.
21. Пушкин 1963 — *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: в 10 т. Изд. 3. Т. 2. М., 1963.
22. Сахаров 2000 — *Сахаров В. И.* Русская масонская поэзия (к постановке проблемы) // Масонство и русская литература XVIII — начала XIX вв. М., 2000. С. 66–118.
23. Соловьев 2021 — *Соловьев А. Ю.* Русская литература путешествий в исследованиях последних лет // Русская литература. 2021. № 3. С. 254–262.
24. Тредиаковский 1963 — *Тредиаковский В. К.* Избранные произведения. М.; Л., 1963.
25. Успенский 2008 — *Успенский Б. А.* Вокруг Тредиаковского: труды по истории русского языка и русской культуры. М., 2008.
26. Франк 1990 — *Франк С.* О задачах познания Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1990. С. 422–452.
27. Lauer 2005 — *Lauer R.* Kleine Geschichte der russischen Literatur. München, 2005.

Елена Николаевна Григорьева,
Вениамин Тимофеевич Золотухин
(Санкт-Петербург)

ПРОЩАНИЕ КАК ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ (СТИХОТВОРЕНИЕ ПУШКИНА «К МОРЮ»)

Уже в заглавии элегии «К морю» (1824) возникает один из самых распространенных романтических образов: морская стихия, с ее непредсказуемостью, независимостью, изменчивостью символически соответствовала важнейшим ценностям эстетики романтизма. Все эти значения выражены определением «свободная стихия», и прощание с ней, прозвучавшее в начале стихотворения, прочитывается как трагическое прощание со свободой как таковой.

Элегия поражает разнообразием временны́х планов. Обращение, которым открывается текст, запечатлевает прощание, происходящее здесь и сейчас. Настоящее время обеспечивает читателю эффект соприсутствия, сопереживания горькой эмоции расставания. В само́м описании центрального образа изобразительная точность («катишь волны голубые»[1]) совмещается с метафоричностью личного восприятия («блещешь гордою красой»).

Вторая строфа вводит прошедшее время, которое подготавливает традиционный для элегического жанра сюжет воспоминания. Парадоксальное совмещение сиюминутности переживания с его завершенностью задает особый временной ракурс. С одной стороны, поэт схватывает мгновение, когда настоящее становится минувшим. С другой — минувшее остается безусловно значимым в настоящем. Сравнение морского шума с голосом друга эмоционально уравнивает прощание с близким человеком и расставание со стихией. Это сравнение сопровождается рядом эпитетов («ропот

[1] Пушкин 2019: 14. Далее текст стихотворения цитируется по этому изданию.

заунывный», «**грустный** шум», «шум **призывный**») — они углубляют персонификацию образа. При этом слово «ропот» совмещает оба значения, зафиксированных в «Словаре языка Пушкина»: «1. Недовольство, выражаемое негромкой речью <…> 2. Невнятный шум (воды, волн)» (Словарь 2000: 1093). «Ропот» моря передается с помощью многочисленных аллитераций. Первый стих строфы задает повтор «р», напоминающий о грохоте разбивающихся валов, второй — вводит шипящий «щ», в котором слышится шорох волн, ласкающих берег. Сочетание «р» и «ш» в третьей и четвертой строках заставляет услышать сразу все «голоса» стихии:

Как д**р**уга **р**опот **з**аунывный,
Как **з**ов его в про**щ**альный ча**с**,
Твой г**р**устный **ш**ум, твой **ш**ум п**р**изывный
Услы**ш**ал я в последний **р**аз.

В этой звукописи выделяются и повторы «з», звучащие в «**за**унывном» ропоте, прощальном «**з**ове» и «при**з**ывном» шуме моря.

Третью строфу открывает восклицательное обращение «Моей души предел желанный!» В пушкинскую эпоху существительное «предел» обозначало край, область или землю, но имело и другой смысл — «граница, мера, рамки чего-н.» (Словарь 2000: 693). Поэт употребляет это слово в первом значении, и все же оно содержит оттенок второго, ведь море — не только край, к которому устремлена душа лирического героя, но и «предел» его желаний. Так в текст входит мотив бегства, отсылающий к устойчивому сюжету байронической поэмы — и вместе с тем соответствующий реальным обстоятельствами пушкинской биографии. Побег у Пушкина предстает самоценным, не имеющим конкретной цели, а мечты о нем описаны как длительное и болезненное состояние. В тексте возникают традиционные элегические формулы («тихий», «туманный», «томим»), которые, впрочем, не мешают закончить строфу восклицательным знаком. Восклицания вводят в текст иную, не элегическую, почти ораторскую интонацию, поддержанную риторическими конструкциями («Как часто…», «Как я любил…»).

Следующая строфа не случайно объединена рифмами со вторым четверостишием («час» — «раз»; «глас» — «час»), в котором морю сообщаются черты живого существа. Изображение персонифицируемой стихии вновь перерастает в психологическую характеристику («И **своенравные порывы**»), а разнообразие морских звуков («Глухие звуки, бездны **глас**»; «И тишину в вечерний час») метафорически превращается в речь («Как я любил твои **отзывы**»). Описание пейзажа одновременно становится самохарактеристикой лирического «я». Связь со вторым четверостишием подчеркивает и звукопись: в четвертой строфе тоже возникает аллитерация на «з», связывающая слова «**з**аунывный», «**з**ов», «при**з**ывный» и «от**з**ывы», «**з**вуки», «бе**з**дны». Рассматриваемая группа стихов выделена опоясывающей рифмовкой, отличающей ее от прочих четверостиший. Эта вольность смещает строфическую норму текста, подготавливая переход к двум строфам, состоящим не из четырех, а из пяти строк.

В первой из них (строфа пятая) ораторская интонация поддержана элементами высокого стиля («смиренный», «рыбарей», «зыбей», «взыграл», «неодолимый»). Стихия предстает одновременно спасительной и гибельной: безмятежная, почти идиллическая картина рыбацкой жизни сменяется возвышенным пейзажем бури. Во второй (строфа шестая) вновь происходит переход к внутреннему миру лирического героя. Чередование двух фокусов внимания — «море» / «я» — закрепляет диалогическую ситуацию, на которой строится текст. Мечта о побеге меняет динамику текста, особенно наглядно воплощенную в глагольных рифмах «оставить» — «поздравить» — «направить». Инерция движения как бы вырывается за пределы строфической формы, заставляя удвоить третий стих и превращая катрен в пятистишие. Суггестивная сила этого движения не отменяет сказанного в начальных строках («Не удалось навек оставить / Мне скучный, неподвижный брег»), но открывает возможность иного, противоположного прочтения стихотворения. «Скучному, **неподвижному** брегу» противопоставлена динамика воображаемого бегства, позволяющая пережить его как убедительную художественную действительность — вопреки

буквальному смыслу строфы. Поэтому особенно интересна замыкающая пятистишие строка «Мой **поэтический** побег», значимость которой акцентирована ее композиционным положением в строфе. Эпитет вносит в текст металитературный ракурс: для «настоящего» романтического героя бегство конкретно и реально, однако лирическим героем Пушкина оно осознается как узнаваемый «книжный» сюжет. Обыгрывая мотивы романтической литературы, поэт поднимается над ними, превращая беседу со «свободной стихией» в диалог с байроническим мироощущением.

Седьмая строфа открывается параллельными конструкциями «Ты ждал, ты звал…». Продолжительность ожидания и зова подчеркнута и повтором, и многоточием, которое разрывает стих неожиданной паузой. Второе полустишие напрямую сопоставляет участников диалога — «Ты» и «Я». Дальнейшие строки допускают противоположные прочтения. «Первое: я остался у берегов по своей воле, потому что был очарован могучей страстью, и она оказалась сильнее, чем порыв к тебе. Второе: я был очарован могучей страстью к тебе, и все же остался у берегов — в силу обстоятельств, которые не смог преодолеть. Думается, второе прочтение вернее, его готовит признание “я был окован”» (Никишов: 1995, 108). Первого прочтения придерживались исследователи, полагавшие, что поэт говорит о «страсти» к Е. К. Воронцовой: в приведенных стихах они находили противопоставление любви и свободы (Слонимский 1963: 48; Цявловская 1974: 34–35). Во втором прочтении была уверена М. И. Цветаева: «…могучей страстью — к морю, конечно» (Цветаева 2002: 62). Однако смысл этих строк не исчерпывается биографическим комментарием. Если для современного читателя «очарован» значит, прежде всего, «восхищен»[2], то в поэзии Золотого века — «околдован»[3]. В этом «волшебном», «чудесном» контексте вводится удержавшая героя страсть, противостоящая порыву к морю, к свободе: «Могучей страстью очарован / у берегов

[2] «Очаровать. Произвести неотразимое, чарующее впечатление на кого-что-н., пленить» (Ожегов, Шведова 2006: 486).

[3] «Очаровать. 1. Околдовать, зачаровать <…> Могучей страстью очарован, у берегов остался я» (Словарь 2000: 274).

остался я». В соответствии с нормами байронического романтизма любовь — последняя и единственная ценность героя, равновеликая миру. Утрата любви равносильна смерти, если не реальной, то духовной. Сопротивление «могучей страсти» невозможно, тщетность его не случайно оформлена наречием высокого штиля «вотще», ярко выделяющимся на фоне преобладающей в строфе элегической стилистики. Как представляется, двоякое прочтение анализируемых строк задано самим текстом, но допущение борьбы двух страстей, сталкивающихся в душе героя, безусловно, углубляет трагизм его переживаний.

Дальнейшее развитие лирического сюжета происходит в области воображения, ведь именно там может осуществиться «поэтический побег», несостоявшийся в «реальном» мире. Выбор мечтаемого пути предстает абсолютно свободным, лишенным какой бы то ни было прагматической цели. Не случайно этот путь охарактеризован эпитетом «беспечный», который в Золотом веке ассоциировался с юностью, природой, творчеством и другими ценностями легкой поэзии. По своей синтаксической структуре двустишие одновременно и сопоставлено с начальными строками предыдущего катрена, и противопоставлено им. Первый стих седьмой строфы разорван многоточием — в первом стихе восьмой строфы пауза возникает благодаря краткости первой вопросительной конструкции. Но если неподвижность героя «восстанавливала» соответствие синтаксиса и стихового членения текста, то мотив побега, даже предполагаемого, оформляется переносом («Куда бы **ныне / я** путь беспечный устремил?»). Смысловое движение колеблет принципы строгого соответствия синтаксических и стиховых единиц. Ответом на вопрос о цели бегства становится указание на «один предмет», исключительность которого подчеркнута выражением «в твоей пустыне».

Анафорический повтор в начале девятой строфы связывает ее с третьим стихом предыдущей («Один предмет» — «Одна скала»), уточняя избранный предмет и перифрастически указывая на остров Святой Елены, место заточения и смерти Наполеона. Четверостишие оформлено высоким стилем («гробница славы»,

«хладный», «величавы», «угасал») и еще одной перифразой («хладный сон» — смерть). Величие Наполеона не только названо — ему соответствует перемена ритма. Два длинных слова («Воспомин**а**нья велич**а**вы») образуют пиррихии на первой и третьей стопах четырехстопного ямба, превращая этот размер в замедленный, торжественный и величественный пеон — четырехсложный метр, практически не встречающийся в поэзии Золотого века[4].

Мотив смерти самого «романтического» человека эпохи, каким виделся поверженный император в контексте формировавшейся в то время наполеоновской легенды, открывает десятую строфу, сохраняя высокий стилистический регистр («Там он почил среди мучений»). Следующий стих вводит иной мотив, другого героя эпохи и эмблему романтизма — так появляется фигура Байрона, не названного прямо, но безусловно узнаваемого читателем. Примечательно, что Пушкин строфически не отделяет тему Байрона от темы Наполеона. Напротив, он намеренно объединяет их и в композиции текста, и в переживании их смерти. Определения «гений», «властитель наших дум» характеризуют обоих. Но с фигурой Наполеона связаны величие, неподвижность («гробница», «скала») и плавность (ритмика), тогда как появление образа Байрона резко меняет темп и звуковую организацию текста («как бури шум <…> умчался»). Всю строфу организуют ассонансы гласного «у», выделенного повтором примыкающих друг к другу слов («б**у**ри ш**у**м») и рифмой («ш**у**м» — «д**у**м»), четырежды повторяющегося в безударном положении и трижды в ударном:

Там он почил среди м**у**чений.
И вслед за ним, как б**у**ри ш**у**м,
Др**у**гой от нас **у**мчался гений,
Др**у**гой властитель наших д**у**м.

---

[4] См. аналогичный стих пятистопного ямба в 13 строфе «19 октября» (1825), также оформляющий мотив величия:

Служенье муз не терпит суеты;
Прекр**а**сное должн**о** быть велич**а**во…
(Пушкин 2019: 76)

Возникающий в этой строфе нарочитый повтор звука «у» напоминает о гуле морской бури. Она не только названа Пушкиным, но и услышана читателем.

Следующие, одиннадцатая и двенадцатая, строфы более всего близки по своему звучанию к элегии на смерть. Плакальщицей по Байрону в пушкинском стихотворении выступает свобода. Это абстрактное понятие за счет олицетворения получает черты старинной поэтической аллегории[5]. Одновременно в текст органично входит одическая интонация, допустимая в надгробном жанре. Второе двустишие строфы — прямое обращение к морю, открывающее отождествление Байрона и морской стихии.

Их соприродность прямо обозначена в двенадцатой строфе. Утверждение «Он духом создан был твоим» продолжает, прежде всего, тему свободной стихии, которая осмысляется как источник байроновского поэтического дара. Вторая половина строфы расшифровывает это утверждение двумя параллельными рядами сравнений, соединенными анафорическим повтором («Как ты, могущ, глубок и мрачен, / Как ты, ничем неукротим»). В первой части стихотворения эти свойства уже были названы при характеристике моря («бездна», «своенравные порывы», «неодолим»). На родство поэта и моря указывают и фонетические повторы: аллитерационный рисунок строфы вторит аллитерации, сопровождавшей описание моря (см. первую и вторую строфы). А совпадение рифм в ст. 48–50 («твоим» — «неукротим») и в ст. 10–12 («твоим» — «томим») третьей строфы, посвященной тоскующему лирическому герою, связывает его с Байроном. Определение «**могущ**», относящееся одновременно и к морю, и к английскому поэту, напоминает о «**могучей** страсти», владеющей героем. Так поэтический текст объединяет море, Байрона и лирического героя.

Тринадцатая строфа резко обрывает высокую патетику коротким и безапелляционным «Мир опустел». Пропуск, обозначенный в последней печатной редакции строками точек, не только передает

---

[5] Ср. «Рабство», «Барство», «Витийство» и др. в стихотворении Пушкина «Деревня» (1819).

ощущение зияющей пустоты, образовавшейся в мире после ухода двух главных фигур эпохи, но и изображает ее графически. Читатель сталкивается с молчанием, вызванным невозможностью речи в опустевшем мире.

В последних двух строфах возвращается элегическое время, резко меняя ракурс изображения. Обращение к морю («Прощай же, море!»), которым открывается четырнадцатая строфа, образует неполный повтор начала стихотворения, но ораторское обращение начального стиха звучит теперь иначе: частица «же» вносит подчеркнуто интимную интонацию. Воображаемый поэтический побег лирического героя сменяется картинами предстоящего ему будущего. «Леса, пустыни молчаливы» в пятнадцатой строфе намечают контуры иного, противопоставленного югу пространства, в котором пройдет михайловская ссылка. Разнообразные звуки моря, оформленные узнаваемыми аллитерациями и ассонансом на «у», «умолкают» в последней строфе. В словосочетании «пус**ты**ни молчал**и**вы» вводится повтор «ы/и» и глухие согласные «п», «с», «т». Но это оглушение парадоксально побеждается эпитетом «мо**л**ча**л**и**в**ы»: зарифмованный с существительным «за**л**и**в**ы», он вторит ласкающим звукам спокойного моря. Кроме того, эта рифма отсылает к созвучию из четвертой строфы («отзывы» — «порывы»), в которой утверждается связь моря и лирического героя.

П**р**ощай же, мо**р**е! Не заб**у**д**у**
Твоей то**р**жественной к**р**асы
И до**л**го, до**л**го слышать б**у**д**у**
Твой г**у**л в вече**р**ние часы.

В леса, в пус**ты**ни молча**л**и**в**ы
Пе**р**енес**у**, **т**обою по**л**н,
Тво**и** ска**л**ы, **т**во**и** за**л**и**в**ы,
И бл**е**ск, **и** **т**ень, **и** гово**р** во**л**н.

Обещания «не забуду», «слышать буду», «перенесу» звучат как клятва верности — морю и прошлому, ушедшей эпохе и испытанной

страсти. Последние два стиха поэтически доказывают исполнимость этой клятвы: впервые в стихотворении ритм и метр совпадают, как будто передавая мерность ударов волны, звучащих в душе героя, способного сохранить драгоценные переживания в памяти. Возникает образ, сопрягающий противоположные начала, соединяющий в себе «и блеск, и тень» жизни.

Провозглашая конец эпохи байронического романтизма и прощаясь с ней, Пушкин, с одной стороны, продолжает ее самим фактом создания стихотворения, воспроизводит ее основные принципы (мотив одиночества в мире, культ титанического героя-индивидуалиста, свободу и любовь как основу его бытия) и стилистические доминанты. Но с другой стороны, это воспроизведение «поднимается» над байроническим романтизмом, мифологизируя двух его основных героев и создавая поэтический образ безвозвратно ушедшей эпохи, который все равно останется в культуре, — метафорически это передано обещанием, что «говор волн» никогда не умолкнет в «молчаливых» лесных «пустынях».

ЛИТЕРАТУРА

1. Никишов 1995 — *Никишов Ю. М.* Философский аспект послания Пушкина «К морю» // Историко-литературный сборник к 60-летию Л. Г. Фризмана. Харьков, 1995.
2. Ожегов, Шведова 2006 — *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка. М., 2006.
3. Пушкин 2019 — *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: в 20 т. Т. 3. Кн. 1. СПб., 2019.
4. Словарь 2000 — Словарь языка Пушкина: в 4 т. Т. 3. М., 2000.
5. Слонимский 1963 — *Слонимский А. Л.* Мастерство Пушкина. М., 1963.
6. Цветаева 2002 — *Цветаева М. И.* Мой Пушкин. М., 2002.
7. Цявловская 1974 — *Цявловская Т. Г.* «Храни меня, мой талисман…» // Прометей. М., 1974. С. 12–92.

Мария Рубинс
(Лондон)

САМЫЙ «УМЫШЛЕННЫЙ» ГОРОД БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: ПЕТЕРБУРГ И «ТЕЛЬ-АВИВСКИЙ ТЕКСТ» РУССКО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нет, странный у нас город! <…> Знаешь, о нем никто еще не написал! Гоголя нет.
(*Л. Левинзон*)

Человеку, оказавшемуся вдали от привычных широт, свойственно искать в очертаниях новой действительности нечто, способное напомнить о том мире, который он вольно или невольно покинул. Порой достаточно нескольких очертаний фасада, неожиданного изгиба улицы, солнечного блика в окне, мимолетного аромата — и воображение переносит нас в знакомые места. Воспоминания о родном городе в свою очередь проецируются на новую систему координат, устанавливая неожиданные связи и аналогии.

Петербург с самого начала был задуман как вариация иных легендарных городов, от Амстердама и Венеции до Пальмиры, и со временем стал продуцировать собственных двойников. В литературе Русского Израиля в столь неожиданной роли двойника северной российской столицы выступает Тель-Авив. Эта дискурсивная реальность стала возможна благодаря притоку в Израиль российской интеллигенции, искушенной в тонкостях городской семиотики. Даже если параллель Тель-Авив — Петербург подается в ироническом ключе, она тем не менее легитимирует новый понятийный язык, позволяя матрице петербургского текста проступать в описаниях средиземноморского метрополиса. По словам

Некоды Зингера, «Тель-Авив — совсем иное дело. Каких-нибудь сто лет назад новорожденный Дизенгофбург, стопою потной встав при море, дерзко замахнулся рубить окно в Европу. Романтик, авантюрист и западник, он готов был стать новым Вавилоном, новым Римом или даже Нью-Иерусалимом, при этом древней столице, как вы понимаете, отводилась роль Старых Тель-Васюков» (Зингер 2004). В этой цитате Зингер конденсирует основные клише петербургского текста и переносит их на Тель-Авив, уместно обыгрывая даже немецкое прозвище города «Дизенгофбург» по имени популярного мэра Меира Дизенгофа, реализовавшего амбициозный план строительства первого современного европейского города в османской, а затем подмандатной Палестине.

Подхватывая линию сравнения, поэт Александр Бараш дает Тель-Авиву значимый эпитет, называя его «умышленным городом, кипящим жизнью» (Бараш 2016). Даже далекие от русской культуры и языка израильские исследователи, знакомые с понятием «городского текста» по переводным источникам, находят петербургский миф крайне продуктивным для концептуализации истории и значения Тель-Авива. В книге «Тель-Авив: Мифография города» Маоз Азарьяху, опираясь на книгу Соломона Волкова (Volkov 1997) и ряд работ о Петербурге западных авторов, проводит недвусмысленную аналогию между двумя городами: «В начале был песок. <…> миф об основании Тель-Авива утверждал его как город, созданный ex nihilo. Песок, на котором он был построен, был подобен болотам из мифа об основании Санкт-Петербурга <…> Оба мифа представляют город как победу цивилизации над хаосом» (Azaryahu 2007: 130, 56). И Петербург, и Тель-Авив были призваны воплотить некое ви́дение, пишет Азарьяху далее, которое подчеркивало контраст между ними и древними центрами — Москвой и Иерусалимом (Azaryahu 2007: 248, 209).

Действительно, Тель-Авив с самого своего основания заявил о себе как об антиподе Иерусалима. Древней, овеянной вековыми легендами сакральной столице, стоящей «на семи холмах» вдали от морского побережья и проникнутой консервативным духом

и мессианскими чаяниями, новый город противопоставил открытость, космополитизм, светскость и современность. Он утверждал себя как агент Запада на Ближнем Востоке и как воплощение представлений о европейской цивилизации, просвещении и прогрессе. Антитеза Иерусалим — Тель-Авив обусловила биполярность израильской культуры; с момента создания еврейского государства в 1948 г. оба города оспаривают статус столицы[1] и до сего дня символизируют противоположные концепции национально-политического развития и экзистенциального выбора.

Создание города ex nihilo стало важным идеологическим и мифообразующим аспектом дискурса о Тель-Авиве. Город строился на песчаных дюнах к северу от древней Яффы, на территории незаселенной, ибо практически непригодной для жизни и земледелия. Символической датой его основания считается 11 апреля 1909 г., хотя и ранее отдельные еврейские кварталы строились в южной части современного Тель-Авива на выкупленных у османских властей землях. Подобно петербургским болотам и наводнениям, пески Тель-Авива вкупе с периодическим *хамсином* — знойным пыльным ветром из Аравийской пустыни — олицетворяли стихийные силы, стремящиеся свести на нет усилия строителей. Песок, как хаос, исконно враждебный упорядоченному космосу, — один из основных лейтмотивов «тель-авивского текста». В своем русскоязычном «палестинском романе» «Тель-Авив» (1933) Авраам Высоцкий описывает вечную борьбу сил созидания и разрушения, сопровождавшую строительство города: «Тихой стеной стояли разрезанные пески, едва заметно шелестели песчинки под крылом морского ветра. Тут же по сторонам наваливали уродливые кучи камня. Люди долбили их молоточками медленно, упрямо, как крысы. <…> Это была человеческая работа — спорая, нервная, мучительная. Рядом шла незаметная работа вечности, страшная своей неотвратимостью: бетон заносило песком. Песчинка за песчинкой, минута за минутой, тонкая волнистая пелена, похожая на

[1] Столицей Израиля является Иерусалим, хотя для внешнего мира политическим центром долгое время считался Тель-Авив.

миниатюрные дюны, накидывала на бетон свои мягкие складки» (Высоцкий 1933: 47). А хамсин предстает в этом романе в апокалиптических тонах: «Это был один из дней хамсина, когда далекая пустыня разверзает свою огненную пасть и хочет испепелить своим дыханием все, что человеческий труд у нее вырвал» (Высоцкий 1933: 126).

Пески постепенно были обузданы и превратились в вереницу золотистых пляжей, однако эсхатологический топос из литературы так и не ушел. В стихотворении современной поэтессы Сиван Бескин «Солнце в Тель-Авиве» построенный на песках город подобен миражу, скользящему по глади моря. Как вышедшая из пены Афродита, город может вновь погрузиться в пучину вод, вместе со всеми своими жителями. А для Бараша сегодняшний Тель-Авив — лишь мимолетное видение, призрак на фоне нескончаемой вереницы сменяющих друг друга средиземноморских цивилизаций:

> С запада — нильский песок морского побережья,
> где филистимляне, евреи и греки — лишь эпизоды,
> не говоря уже о крестоносцах и турках. (Бараш 2016)

Александр Галич, концертировавший в Израиле осенью 1975 г., был так поражен обилием песка вокруг Тель-Авива, что написал песню «Песок Израиля», в которой переосмыслил несметные песчинки в телеологическом ключе как отложения долгих эпох и многочисленных стран еврейского рассеяния, вновь собранные на древней земле:

> Помни —
> Из всех песочных часов на свете
> Кто-то сюда — веками — свозил песок! (Галич 2006: 275)

Это подразумеваемое временно́е измерение, связь с историей, в которой как будто было отказано городу, возникшему ex nihilo, тоже сближает Тель-Авив с Петербургом, который хоть и возник среди болот, но быстро был перекодирован — и в историческом

контексте, через связь с Александром Невским, чьи останки Петр I перевез в свою новую столицу, и в мифическом, как своего рода «четвертый Рим». Да и префикс «санкт» в его названии содержит намек на амбивалентность светскости / сакральности. Аналогично, несмотря на заявленный светский пафос Тель-Авива (слова «песок» и «светский», в смысле ‘нерелигиозный, секулярный’, на иврите являются омонимами и произносятся как «холь»), само его имя связано с Танахом: поселение под таким названием находилось в Месопотамии и упоминается в Книге пророка Иезекииля в контексте вавилонского пленения: «И прибыл я к изгнанникам в Тель-Авиве — живущим на реке Квар, — и прожил там в их среде, где они живут, семь дней — с опустошенной душой» (Иез. 3: 15). Этимология названия глубоко значима: «тель» означает холм, а точнее археологический курган, хранящий информацию о некой древней цивилизации, а «авив» на иврите значит «весна» (соответственно, «воскресение», «обновление»). Таким образом, Тель-Авив приобретал смысл связующего звена между прошлым и будущим, включался в риторику сионизма об искуплении, возвращении евреев из изгнания и возрождения на своей земле.

Уникальность Тель-Авива состоит и в том, что он был «назван в честь книги» (Azaryahu, Silver 2022). Эта литературоцентричность, роднящая его с Петербургом, названном Бродским «столицей русской словесности», не могла ускользнуть от внимания русско-израильских авторов. Писатель Александр Гольдштейн утверждал, что Тель-Авив «вырос» из романа основателя сионистского движения Теодора Герцля (Гольдштейн 2001: 300). Именно так, «Тель-Авив», был озаглавлен перевод утопического романа Герцля «Altneuland» (буквально «Старая новая земля»), выполненный Нахумом Соколовым. Утопия Герцля описывала еврейское государство недалекого будущего: автор пророчества предполагал, что оно может возникнуть через пять десятилетий после того, как он провозгласил мысль об этом на международном сионистском конгрессе в 1897 г., и ошибся лишь на несколько месяцев. Решение о переименовании нового еврейского города (одно время он назы-

вался Ахузат-Байт), призванного стать воплощением сионистской мечты, в Тель-Авив было поэтому глубоко символичным. Как пишет Гольдштейн, «несколько текстов собрали в себе всю силу обетования, во исполнение коего построены города на территориях песка и болот. <…> Проницая законы магико-теургического искусства <…>, Герцль довел свое слово до отчаянного градуса желания и пророческой непреложности» (Гольдштейн 2001: 299–300).

Вера в действенность слова, в его способность порождать реальность лежит в основе еврейской духовной традиции, что роднит ее с классической русской культурой. Логоцентризм проявляется и в убеждении, что Тора содержит весь план мироздания, и в особом отношении к религиозным текстам: износившиеся свитки и книги, в которых упоминается имя Творца, нельзя, например, просто выбросить — они должны быть «захоронены» в земле или помещены в специально отведенные хранилища — *генизы*. Характерно, что перекодирование иврита с древнееврейского, веками использовавшегося почти исключительно в культовых целях, на язык повседневного общения, с самого начала воспринималось как безоговорочное условие создания еврейского национального государства. Отцом современного иврита был выходец из русской культуры Элиэзер Бен-Йехуда. И хотя он жил и работал в Иерусалиме, воплощением его языкового проекта стал именно Тель-Авив — первый полностью ивритоязычный город.

Другим выходцем из Российской империи и убежденным носителем русско-еврейского логоцентризма был историк и профессор Иерусалимского университета Иосиф Клаузнер. В своей заметке для юбилейного сборника, изданного к двадцатилетию Тель-Авива, он писал именно о значении для города поэзии и языка. Клаузнер начинает заметку с описания охватившего его трепета, когда он оказался на первой тель-авивской улице, названной в честь Иехуды Галеви (1075 (?) — 1141), «самого великого сионистского поэта», чье воображение и страстное желание возвращения на землю предков удобрило почву, на которой через много веков «расцвели цветы возрождения», и среди них — Тель-Авив.

В этом городе, пишет далее Клаузнер, сами названия на иврите лелеют слух евреев, привыкших в галуте слышать лишь чужие наречия (Ир ха-плаот 1929: 22–23).

Более чем через семьдесят лет эти мысли находят продолжение у Гольдштейна: разглядывая надгробные плиты отцов-основателей современного Израиля, он рассуждает о претворении слова в реальность, о тождестве названия и места: «По четвергам посещаю укромный погост в глуховатом, наискосок от моря, тель-авивском квартале. <…> я называю смиренную территорию Кладбищем Улиц, здесь захоронены славные, здесь лежат праведные, ставшие магистралями, проспектами, парками израильских городов» (Гольдштейн 2001: 68).

Эта лирическая медитация звучит как контр-реплика на стихотворение Бродского «Еврейское кладбище около Ленинграда». Бродский противопоставляет «идеализм» лежащих за кривым забором евреев «безвыходно материальному миру»:

И в этом мире, безвыходно материальном,
толковали Талмуд,
оставаясь идеалистами. (Бродский 2001: 20)

А связь с землей для евреев рассеяния могла быть реализована только в посмертной метафоре тела как упавшего в землю зерна:

И не сеяли хлеба.
Никогда не сеяли хлеба.
Просто сами ложились
в холодную землю, как зерна.
И навек засыпали. (Бродский 2001: 20)

Но из этих «зерен» не произрастает ничего осязаемого, напротив, успокоение мертвецы обретают молитвами старцев только «в виде распада материи».

В постгалутной кладбищенской элегии Гольдштейна, напротив, еврейские мертвецы прорастают в реалии современных городов. И даже форма и материальность букв ивритского алфавита, выбитых на надгробиях, как будто утверждают право евреев на свою землю: «Иудейское кладбище, камень и кость в угодьях зноя, сухие чистые спеленутые кости под ветшающими заупокойными изваяниями. <…> Квадратные буквы евреев, возмещая тысячелетнюю безземельность, крепко вросли в эту почву» (Гольдштейн 2001: 74).

Вообще у Гольдштейна можно обнаружить немало отсылок к текстам Бродского. Его описания зимнего Тель-Авива близки к пассажам о зимней Венеции Бродского — города, который он посещал, когда туман, влажный воздух, острый запах водорослей и электрический свет венецианских кофеен в ранних сумерках с легкостью переносили его в недосягаемый город на Неве. Ср. у Гольдштейна: «…зимой в Тель-Авиве белое вино Клеопатры растворяет жемчужину. Я люблю этот нежный, изменчивый лепет, благорастворенность морских упоений, обжигающую сладость кофе к золотым сигнальным огням в быстрых масляных сумерках, к рано возжегшимся медным светильникам в антикварных лавчонках, <…> домовитость кондитерской выпечки, свежие водоросли, в этой смеси есть нечто или даже кое-что европейское, сродни той неостывающей влаги, по которой бык сплавил Европу. <…> Зимой в нашем городе из облачных скважин льются покой и соблазн, присущие пасмурности. Земля получает не отдых — дыхание. Увлажняется небо. Море учится быть врачом, в чьей аптеке — йод, соль, водоросли, хлопья пены, холодная ингаляция в чаше» (Гольдштейн 2001: 70).

Впрочем, параллельно с Бродским «золотые огни» в «быстрых масляных сумерках» вызывают ассоциации с «желтком» и «дегтем» мандельштамовского «Петербурга», а «йод» и «ингаляция» коррелируют с воспоминаниями мандельштамовского героя о «припухших железах» во время детских простуд.

Пожалуй, главным предназначением Тель-Авива, по мысли его основателей, было стать первым европейским городом Палестины.

Он был задуман в основном ашкеназскими евреями — выходцами из Европы и Российской империи, а для них образцом современной урбанистической культуры оставались европейские города. В отличие от традиционных городов с их естественной циркульной застройкой или хаотичных переулков арабских кварталов, тель-авивские улицы были прямыми и широкими. Многие из проектировавших город архитекторов приехали из нацистской Германии и были мастерами таких модных стилей, как ар-деко и Баухаус — так был построен так называемый «Белый город» (Неве-Цедек и прилегающие районы)[2]. В отличие от арабской Яффы, в Тель-Авиве появилось уличное освещение. В литературе его описывали как «город света» и противопоставляли арабским поселениям. В свой роман «Зеленое пламя» (1928) Высоцкий включает характерные описания города, увиденного остраненно, глазами арабских соседей: «Тель-Авив залит электрическим светом. По улицам мчатся автомобили, шумит жизнь, пришедшая из другого, далекого мира. Осколок Европы перелетел сюда. За воротами Тель-Авива черная ночь припала к земле древней Аравии. <…> Арабская деревушка спит на берегу Средиземного моря. Изредка до нее доходят отзвуки города “кбир” — большого города, еврейского города, Тель-Авива. Ночью виден свет над Тель-Авивом: на небе зарево. Правоверные сидят на могильных камнях <…> и говорят о чудесах города евреев» (Высоцкий 1928: 3, 36).

Электрический свет, автомобили, европейский стиль символизировали не только современность, но и шире — жизнеспособность Тель-Авива, его устремленность в будущее, в конечном итоге — его призвание исполнить пророчество об избавлении. В одном из ранних стихотворений Авраам Шленский создает поэтичный образ города, сопрягая физический план с духовным.

---

[2] Историческая ирония заключается в том, что именно Тель-Авив сохранил самую большую в мире концентрацию зданий в стиле Баухауса (около 4 тыс.), в то время как в самой Германии большинство этих зданий было разрушено. В 2003 г. «Белый город» Тель-Авива вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лирический герой, который называет себя одновременно «псалмопевцем» и «строителем дорог Израиля», просит мать облачить его в «разноцветный кафтан» (*ктонет пасим*), как у библейского Иосифа, и с утренней молитвой отвести его на работу. Мягкий свет окутывает город как *талит*[3], новые дома-кубики стоят как филактерии, а вымощенные дороги струятся как *тфиллин*[4] — через прием олицетворения Тель-Авив как будто сам произносит молитву своему создателю (и Создателю) (Ир ха-плаот 1929: 39). В этом тексте все амбивалентно: каждый предмет имеет как религиозно-метафизический аспект, так и конкретно-земной[5]. А Тель-Авив, как и его квази-двойник Петербург, становится не просто фоном, но и активным субъектом действия.

В сборнике «Город чудес» непосредственно за этим стихотворением следовало другое, описывающее пассивность, летаргию и безделье, царящие в старой Яффе, осужденной историей на медленное угасание (Ир ха-плаот 1929: 39–40). В нем лирический герой Шленского намекает на собственную смерть как символ бессмысленного существования в обреченном городе. Так оба текста образуют диптих, усиливающий контраст между старым и новым, прошлым и будущим, Яффой и Тель-Авивом, мусульманской Палестиной и Эрец-Израэль.

Близкий Шленскому поэт Натан Альтерман находит свой особый подход к передаче динамики современности и мифа в облике Тель-Авива. Если в более поздних стихах он называет его

---

[3] Талит (иврит) — мужская молитвенная накидка, необходимая для утренней молитвы Шахарит.

[4] Тфиллин (иврит) — филактерии.

[5] Впрочем, не исключены и иные интерпретации. Это короткое стихотворение коррелирует с написанной Шленским в том же году поэмой «Напротив пустоши» (1929), которая дает более полное представление о создаваемой им мифологии Тель-Авива. По мнению некоторых исследователей (Х. Шахэм, В. Паперный), поэт пытается создать некую «квазирелигиозную альтернативу традиционному иудаизму», представляя коллективного строителя города «в функции Бога-Творца» или «демиурга», и все это под влиянием импонировавших Шленскому социалистических идей (см., inter alia, Паперный 2003: 210).

«голубкой»[6], то в газетных фельетонах 1920–30-х гг. метафорой города «переходного возраста» становится полуребенок-полуженщина: она еще не умеет носить каблуки, а в сандалиях выглядит глупо; с макияжем она нелепо накрашенный ребенок, а без макияжа — бледна; части ее тела непропорциональны. Но она подкупает своей свежестью и энергичностью: «Как она молода, как наслаждается каждым мимолетным удовольствием. Она живет день за днем и ночь за ночью, у нее нет ни прошлого, ни будущего» (Альтерман 1979: 12). В фельетоне «Диана» город персонифицирован в облике игривой, веселой, спортивной двадцатилетней девушки, чья внешность соответствует атлетической концепции женского тела, характерной для стиля ар-деко. У нее сильные бедра и блестящие глаза. По утрам она идет купаться в море и, убегая от волн, на мгновение кажется очаровательной женщиной (Альтерман 1979: 12). В иврите слово «город» женского рода, а слово «море» мужского, поэтому образ Тель-Авива как бегущей от волн девушки придает описанию легкий эротический оттенок. Название фельетона — «Диана» — вызывает ассоциации с мифом о девственной богине-охотнице, которая жестоко карала своих поклонников, осмелившихся застичь ее за купанием.

Азарьяху сравнивает образ Тель-Авива как девушки-подростка с гоголевским уподоблением Петербурга «молодому человеку» и предполагает, что Альтерман, хорошо знакомый с русской литературой, заимствовал и видоизменил эту метафору русского классика (Azaryahu 2007: 89). Видимо, здесь имеется в виду очерк «Петербургские записки 1836 года», в котором Гоголь сравнивает Москву с матушкой, а Петербург с сынком и описывает его как «востроногого», «разбитного малого». Вообще сравнения новоиспеченной российской столицы с юношей, незрелым, заносчивым выскочкой, часто встречаются в очерках и травелогах XIX в. И обычно носят пейоративный характер. Образ юного Тель-Авива

[6] Заглавие сборника Альтермана 1957 г. в переводе с иврита означает «Город голубки».

у Альтермана — непорочной, гибкой и по-своему тоже «востроногой» Дианы — напротив, полон любви к городу, в котором поэт жил с пятнадцати лет и чье бурное становление проходило у него на глазах.

Наделяя город именем девственной богини, Альтерман намеренно отбрасывает конвенциональные ассоциации городов в Библии и иных древнесемитских текстах с блудницей, грешницей, неверной женой. У Пророков такими определениями часто награждался Иерусалим (синонимичный всему еврейскому народу). Грех идолопоклонства они уподобляли измене города (жены, невесты) своему суженому (еврейскому Б-гу). В этом отношении Тель-Авив как юный и, соответственно, непорочный город также противопоставлялся Иерусалиму. Однако по мере его «взросления» более традиционные мифологемы «города-блудницы» начинают проникать в тель-авивский текст. Город все чаще маркируется как средоточие сладострастия и порока. Невротический протагонист романа Давида Гроссмана «Будь моим ножом!» (1998), например, описывает себя как «банк спермы», курсирующий между женщинами на улице Дизенгоф (Grossman 2002: 163).

Гольдштейн переносит на Тель-Авив метафоры порочного города, типичные для иерусалимского текста. В эссе «Тетис, или средиземная почта» он иронически пересказывает Иезекииля, который обличал «иерусалимскую дщерь», строившую себе блудилища на всякой площади и бесплатно предлагавшую свои прелести всем желающим. Герой-фланер Гольдштейна обнаруживает такой же «бескорыстный любвеобильный гедонизм» в витринах тель-авивских магазинов, где манекены расточают свою красоту всем без разбора: «…удушливой ночью, утонувшей в чаду еврейской эротики, я стоял перед одной из центральных витрин Тель-Авива. Несколько дам в отменно дорогих одеяниях находились ко мне вполоборота. У одной из них, с боттичеллиевскими растрепанно-кудрявыми светлыми волосами, недоставало кисти руки, которая лежала возле ног соседней дамы, в свою очередь обронившей туфлю» (Гольдштейн 2011: 282).

Описывая фрагментацию этих манекенов в традициях авангардного искусства, Гольдштейн в то же время вновь перебрасывает мостик к Иезекиилю, который называл блудом идолопоклонство: «Коммерческий город Тель-Авив переполнен разнообразными манекенами — субботний народ таким образом сублимирует свою подавленную кумиротворческую страсть» (Гольдштейн 2011: 282).

Манекен, стимулирующий коммерческое и эротическое желание, а также нарушающий заповедь «не сотвори себе кумира», становится у Гольдштейна своего рода *genius loci* Тель-Авива, а душу города писатель воплощает в собирательном образе современной «тель-авивской дщери», служащей банка Мириам Френкель. Причастная финансовым потокам, вожделенная для представителей всех конкурирующих политических блоков, Мириам вырастает до фантасмагорического символа не только сексуализированного города, но и всей земли Израиля, его общенационального лона, недоступного лишь для незаметного, робкого героя: «…белые ашкеназские груди Мириам набухли воспоминаниями под кожаной курткой, тонкой блузкой и надушенным французским бюстгальтером, что означает, что до сих пор не посаженный Арье Дери, возможно, вновь подступается с коалиционным данайским даром к левому правительству, где левая грудь Мириам представляет правительство, правая — с крохотной черной родинкой повыше соска — конечно, не только, не столько марроканских азартных политических игроков и раввинов, но весь правый лагерь, срединность же вагинального входа в цветущее тело символически намекает на хрупкое национальное равновесие, ждущее новых вливаний, Мириам, Мириам, желанная как Голаны» (Гольдштейн 2011: 296–297).

Помимо ироничной стилизации библейской традиции, в своих тель-авивских текстах Гольдштейн наследует и мифу сюрреалистов, представлявших город как соблазнительную, загадочную проститутку, а в других эссе он стилизует описания злачного парижского дна, например, у Генри Миллера («Тропик рака»). У ряда современных израильских авторов устойчивыми топосами Тель-Авива становятся трущобы (район вокруг автобусной станции,

квартал дешевых эротических развлечений, грязные бары гастарбайтеров, затрапезные кафе, где собираются русские пьяницы-интеллектуалы). У Леонида Левинзона, Риты Бальминой, Марка Зайчика ощутим острый душок достоевщины. Своему рассказу о нетрезвой и неприкаянной тель-авивской богеме, в котором все действующие лица (от автора до Михаила Гробмана) выведены под своими реальными именами, Бальмина предпослала в качестве эпиграфа собственное стихотворение, недвусмысленно, пусть с легким флером самоиронии, обозначив петербургскую литературную родословную:

Воспоминание, как светлячок из мрака:
У нас была своя «Бродячая собака»,
И мы в ней сами — суками и псами
На декаданс не сдавшими экзамен.
Где вы теперь, Паллады, Саломеи,
Не от добра искавшие добра?
Но веку не хватило серебра,
А потому, и сравнивать не смею…
У нас была своя бродячая собака —
Теперь ее руно у мусорного бака
Для черновых, напрасных вариантов.
И это наш приют комедиантов. (Бальмина)

По словам Светланы Бломберг, «задача Бальминой — показать людей в ситуации, когда из прошлого они вырваны с корнем, когда никто еще не привязан ни к кому и ни к чему, описать их безалаберный, нечистый, неустойчивый быт, который в символическом ключе по-своему важен для понимания культуры» (Бломберг 2012).

* * *

Как ни удивителен сам факт сопоставления столь внешне непохожих городов, транскультурный диалог между мифами Тель-Авива и Петербурга у русскоязычных писателей Израиля возник не на пустом месте. Как следует даже из немногих приведенных примеров, их ивритоязычные коллеги, артикулируя тель-авивский миф еще в первой половине XX в., сознательно пользовались мотивами и тропами петербургского текста. Разумеется, большинство из них тоже были выходцами из России и были хорошо знакомы с этим культурным кодом. Но, как справедливо отмечает В. Паперный, «ивритских авторов Петербург как таковой не занимал совсем или занимал очень мало. Они не продолжали 'петербургский текст' русской литературы <…> для многих из них он стал субстратом для их собственных мифотворческих построений, ядро которых составила мифология Тель-Авива. <…> Меж тем, *Тель-Авив как миф* прочно и глубоко связан с *Петербургом как мифом*» (Паперный 2003: 196–197). Возникает вопрос, верно ли это и для современных русскоязычных писателей Израиля? Пишут ли они тель-авивский текст, используя знакомую матрицу, или же развивают и «дописывают» петербургский текст? Собственно, подобный вопрос можно было бы задать и в контексте стихов и прозы Бродского о Венеции. В конечном счете, и в венецианском, и в израильском изводе петербургский текст отличается гибридностью, которая все больше характеризует тексты авторов, творящих на стыке разных национальных, культурных и лингвистических традиций. Как следствие неуклонной диаспоризации литературы, петербургский текст, подобно иным универсалиям русской классики, давно вышел за пределы метрополии, предоставив свой концептуальный лексикон для мифотворчества в самых разнообразных широтах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альтерман 1979 — *Альтерман Н.* Тель-Авив ха-ктана. Тель-Авив, 1979.

2. Бальмина — *Бальмина Р.* Рассказ о летней компании 1994 г. URL: http://www.codistics.com/sakansky/paper/balminacom1.htm (дата обращения: 28.08.2025).
3. Бараш 2016 — *Бараш А.* Тель-Авив // Воздух 2016. № 1. URL: http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2016-1/barash/ (дата обращения 11.07.2025).
4. Бломберг 2012 — *Бломберг С.* Сотворение городского мифа. Тель-Авив и Иерусалим в произведениях русскоязычных израильских прозаиков // Сетевая словесность. 2012. URL: https://www.netslova.ru/blomberg/litisrael.html (дата обращения: 20.08.2025).
5. Бродский 2001 — *Бродский И.* Сочинения: в 7 т. Т. 1. СПб., 2001.
6. Высоцкий 1928 — *Высоцкий А.* Зеленое пламя. Палестинский роман. Рига, 1928.
7. Высоцкий 1933 — *Высоцкий А.* Тель-Авив. Палестинский роман. Рига, 1933.
8. Галич 2006 — *Галич А.* Стихотворения и поэмы. СПб., 2006.
9. Гольдштейн 2011 — *Гольдштейн А.* Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики. М., 2011.
10. Гольдштейн 2001 — *Гольдштейн А.* Аспекты духовного брака. М., 2001.
11. Зингер 2004 — *Зингер Н.* Слабый лед столицы // Двоеточие. 2004. № 6. URL: http://gendelev.org/kontekst/teksty-i-konteksty/461-nekod-zinger-slabyj-led-stolitsy-dva-esse-1.html (дата обращения 13.07.2025).
12. Ир ха-плаот 1929 — *Ир ха-плаот* [на иврите] / ред. А. Варди. Тель-Авив, 1929.
13. Паперный 2003 — *Паперный В.* Петербургский субстрат в мифологии Тель-Авива. Образ Петербурга в мировой культуре. СПб, 2003.
14. Azaryahu 2007 — *Azaryahu M.* Tel Aviv: Mythography of a City. Syracuse, 2007.
15. Azaryahu, Silver 2022 — *Azaryahu M., Silver J.* The Mythography of Tel Aviv // Mosaic. 2022. November 17. URL: https://mosaicmagazine.com/observation/israel-zionism/2022/11/the-mythography-of-tel-aviv/?utm_source=Klaviyo&utm_medium=campaign&utm_campaign=2022-11-17&_kx=fwatFfEgyjz0JH5O32loGCuHKD5YwUJOoZSLxhPDe1A%3D.L87CGh (дата обращения: 20.06.2025).
16. Grossman 2002 — *Grossman D.* Be My Knife. London, 2002.
17. Volkov 1997 — *Volkov S.* St. Petersburg: A Cultural History. New York, 1997.

Николай Александрович Гуськов
(Санкт-Петербург)

ДРАМАТУРГИЯ М. Л. МИХАЙЛОВА И НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ЕГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОКРУЖЕНИЯ (К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВЕСНОСТИ XVIII ВЕКА)

Михаил Ларионович Михайлов (1829–1865) проявил себя в разных сферах литературной деятельности, но в наши дни не включается в круг знаменитых писателей, и если ему отдают дань уважения, то, главным образом, как переводчику. Оригинальная его лирика известна гораздо меньше, чем наследие Я. П. Полонского, А. Н. Майкова, Л. А. Мея, с которыми поэт был дружен. Проза его, высоко ценимая современниками, забыта, хотя периодически переиздается. Историки признают важную роль, которую в общественной жизни сыграла его публицистика, особенно статьи по женскому вопросу. Наибольший интерес вызывает личная жизнь писателя: тройственный брак его с четой Шелгуновых, послуживший едва ли не главным прототипом любовного треугольника в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?»; до сих пор не вполне проясненное участие в распространении антиправительственных прокламаций в 1861 г., приведшее Михайлова в тюрьму, затем в ссылку, где он и умер. Подобные вопросы эта статья оставляет в стороне, обращаясь к первым годам творчества автора, которого исследователи незаслуженно обделяют своим вниманием.

Михайлов принадлежал к так называемым вечным студентам. Не окончив курса Уфимской гимназии, он не смог в 1846 г. поступить в Петербургский университет и посещал занятия как вольнослушатель. Несмотря на молодость, он, благодаря знаниям, дарованиям и личному обаянию, быстро приобрел авторитет

среди соучеников, связи в столичных литературных кругах, стал печатать стихи, статьи и переводы, но эти занятия поссорили его с отцом, надворным советником, проживавшим в провинции. Тот отказал сыну в денежном содержании, и уже в 1848 г. Михайлов уехал в Нижний Новгород, поступил на службу, но в 1853 г. вернулся и, живя на литературные доходы, возобновил посещение университета, которое прекратил лишь в 1859 г., будучи уже влиятельным писателем, сотрудником многих периодических изданий, семейным человеком. Студенты и преподаватели историко-филологического факультета входили в постоянную среду его общения.

Наименее известны его драматические опыты — одноактные комедии «Тетушка» (1849) и «Кумушки» (1852). Действие их, как и в большинстве русских пьес, минимально. В первой старая, больная, капризная провинциальная помещица Сигаева недовольна прислугой, родственниками, знакомыми и благоволит лишь к приживальщику Кучкину, который много лет лицемерно потакал ее прихотям, тайно усугубляя ее болезнь при потворстве доктора — корыстолюбивого и невежественного немца. В праздничный день барыне досаждают визитами разные лица, то ли опрометчиво надеясь на то, что проявленное ими внимание обеспечит им долю ее наследства, то ли получая удовольствие от процесса демонстрации своей персоны и пустой беседы на ту тему, которая интересна лишь каждому из них. Барыня случайно обнаруживает истинный облик Кучкина, застав его заигрывания с ее горничной, и, прогнав его, раздраженная и утомленная впечатлениями дня и болезнью, умирает. Горничная похищает ее деньги и драгоценности. То же хотел сделать и вернувшийся Кучкин, завещание на имя которого составлено так и не было, но опоздал и проклинает судьбу. В «Кумушках» старые сплетницы на именинах мещанки Петровны среди прочих новостей сообщают, что жених ее дочери ухаживает за другой, но его приятель, хозяин квартиры, где происходит действие, опровергает слухи, приводит молодого человека и разгоняет старух.

Пьесы, особенно «Тетушка», примечательны не столько сами по себе, сколько за счет восторженного впечатления, произведенного

на первых читателей — университетских знакомых Михайлова. Правда, об одобрении самого известного из них, Чернышевского, можно судить лишь косвенно, зато письма последнего молодому драматургу красноречиво свидетельствуют о реакции их круга: «“Тетушка” была прочитана на вечере у Введенского и очень понравилась; жаль только, что прочитана она была не совсем хорошо: если б я знал, что чтец будет так плох, я сам стал бы читать; но все-таки ее очень хвалили» (Чернышевский 1939–1953: 14, 208–209; отправлено в 1850 г. без точной даты). В другом письме 25 декабря 1851 г. Чернышевский сообщал о своем двоюродном брате А. Н. Пыпине: «Боже, в каких красках расписал он… Вас и Ваши, “интересные” и “поучительные” беседы! а из “Тетушки” он большую часть сцен (особенно, где являются гости к Сигаевой) знает наизусть, и чрезвычайно уважает Ваш талант; серьезно, сблизьтесь с ним, он славный малый и от души уважает Вас» (Чернышевский 1939–1953: 14, 214).

Столь высокие оценки скромной комедии трудно объяснить исключительно дружескими чувствами Чернышевского, Пыпина и заочными симпатиями их знакомых. Первый вообще не был склонен к похвалам, к тому же твердил о неприязни к театру, например в письме дяде и тетке 1 января 1847 г.: «в театр я не хожу, потому что терпеть не могу его, как Вы, может быть, помните» (Чернышевский 1939–1953: 14, 98). Впрочем, 25 апреля 1877 г. он признался сыну: «Я любил театр. Но очень мало бывал в нем. Пока я был студентом, я опасался, что если раз пойду в театр, то меня будет сильно тянуть бывать в нем беспрестанно. А это отвлекало бы меня от занятий. И больше чем три года из четырех я удерживал себя от посещения театра» (Чернышевский 1939–1953: 15, 98). Даже здесь, однако, Чернышевский очень взыскателен к пьесам, из русских одобряя лишь две — «Ревизор» и «Горе от ума», во французской же драматургии не находя ни одной приемлемой для постановки. В 1850 г. он судил еще резче, в письме Михайлову, например, излагает программу своей публичной лекции так: «объявил, что греки скоты; дальше пал от моей мощной руки театр и драматическая форма — доказал, что театр теперь лишился

смысла и значения, с ним вместе трагедия, комедия и т. д.; и пошел, и пошел, и пошел» (Чернышевский 1939–1953: 14, 206).

Возможно, высокие оценки «Тетушки» объясняются тем, что она производила впечатление актуальности. В самом деле, пьесы Михайлова напоминают сцены / картины нравов в духе натуральной школы и предвосхищают почти все ранние экспериментальные опыты А. Н. Островского, А. Ф. Писемского, А. А. Потехина, предпринятые в те же годы. Оказавшимся в столице молодым провинциалам, чье патриархальное мировоззрение стремительно превращалось в радикальное вольнодумство, подобные пьесы должны были казаться новаторскими. «Кумушки» были напечатаны в журнале (Михайлов 1852) и по одному разу даны на императорских сценах: 1 сентября 1853 г. в Петербурге и 17 ноября 1858 г. в Москве (История 1979: 341), но «Тетушка» в суровых условиях «мрачного семилетия» цензуру не прошла (не говоря о деталях, неприемлем был финал, где крепостная безнаказанно обкрадывает покойную барыню). Комедия появилась в печати накануне реформы (Михайлов 1860) и не произвела особенного эффекта у публики, для которой бытовая реалистическая драматургия утратила прелесть новизны.

Пьесы Михайлова несут на себе явный отпечаток ученичества: диалог ведется не так органично, как в позднейшей его прозе, а за попыткой вывести на сцене действительность (вероятно, конкретных прототипов) ощущается присутствие архаических литературных моделей. Центральные характеры — суеверные, ретроградные старухи-сплетницы Сидоровна и Клементьевна, капризная лицемерная Сигаева, жестокая к прислуге и родственникам, почти до цитатной близости соотносятся с главными героинями комедии Екатерины II «О, время!» — Вестниковой, Чудихиной и особенно Ханжахиной, которая бьет горничную четками (так же чередует молитвы и брань барыня у Михайлова). К излюбленным императрицей объектам сатиры принадлежат темы бесед кумушек-мещанок и тетушкиных визитеров, например, приметы, вещие сны и иные предрассудки (воплощенные прежде всего в Чудихиной),

попрошайничество старух в богатых домах при открытом презрении к хозяевам (например, в «Передней знатного боярина»), пространные анекдоты о чувашах-язычниках (в духе осмеяния дикости инородцев в «Шамане Сибирском» и «Февее»). Помимо старух, близки персонажам екатерининских пьес и журналов фигуры гостей Сигаевой, соединяющие уродливое щегольство с провинциальным варварством понятий. Жанр «Тетушки» и «Кумушек» — так называемая comédie à tiroirs, комедия-обозрение, где нет единой драматической интриги[1], а выведена череда высмеиваемых лиц, с каждым из которых разыгрывается самостоятельная сцена, мало связанная с прочими. Такой вид пьесы был в ходу в XVIII в. (например, «Щепетильник» В. И. Лукина, «Передняя знатного боярина» Екатерины II) и возродился в бытовой драматургии 1840-х гг. («Петербургские квартиры» Ф. А. Кони, «Омнибус» А. Я. Кульчицкого).

Серьезное увлечение Михайлова старинной словесностью отмечено уже в предисловии к наиболее полному собранию его сочинений (Быков 1913: XVII). Высоко оценил его филологические занятия П. Н. Берков, хотя и причислил писателя к библиографическому направлению литературоведения той эпохи (Берков 1964: 21, 77), о котором отозвался пренебрежительно. Между тем педантичные любители старины 1840–50-х гг. собрали бесценную фактографическую базу, активным пользователем которой был и Берков, не самый благодарный их последователь. Показательны публикации Михайлова в № 2 «Библиотеки для чтения» за 1854 г. В своей анонимной рецензии на вызвавший дискуссию научный труд он требует строго исторического подхода к писателям XVIII в. И вслед за Н. Н. Буличем дает высокую оценку Сумарокову как журналисту, сатирику, общественному деятелю (Михайлов 1854); в том же духе выдержана и обширная рецензия юного почитателя

[1] В традиционном ее понимании. Чернышевский полагал, что «собственно завязки, интриги нет в древних комедиях, как и в “Ревизоре”, например, или в “Горе от ума”» (Чернышевский 1939–1953: 14, 55), поэтому статичность пьес Михайлова ему, видимо, казалась естественной.

«Тетушки» Пыпина в «Санкт-Петербургских ведомостях» (Пыпин 1854). Открывая цикл замечательных статей «Путешествие по старой русской библиотеке», Михайлов сетует: «К сожалению, для многих старая русская литература представляется чем-то вроде безотрадной пустыни, и в нее боятся заглянуть» (Михайлов 1854а: 40) — и эффектно опровергает это заблуждение, рекламируя беллетристику XVIII столетия и сравнивая ее с современными ему посредственными романами далеко не в их пользу. «Путешествие» продолжилось в № 5 и 9 и прервалось, возобновлением его следует признать статью Пыпина в «Современнике» (Пыпин 1854а), разросшуюся до магистерской диссертации — первой монографии выдающегося ученого, высоко оцененной И. И. Срезневским (Пыпин 1857). Эти занятия Пыпина, несомненно, были известны Михайлову и не избежали его влияния. С его библиографическими заметками о старинной прозе непосредственно связан и «Исторический очерк русского прозаического романа», помещенный в «Сыне Отечества» (Благосветлов 1856) участником упомянутого выше кружка Введенского Г. Е. Благосветловым. Он познакомился с Михайловым, будучи студентом юридического факультета Петербургского университета, который окончил в 1851 г., а с Чернышевским задолго до того в Саратове. Итак, при всем дилетантизме изысканий Михайлова, они питали истоки академического литературоведения.

Переклички со старинной комедией у Михайлова несводимы к совпадениям типовых бытовых ситуаций и характеров, вечно присутствующих в русском обществе. На то, что их литературная преемственность ощущалась окружением писателя, указывает цитированное письмо Чернышевского. Соглашаясь с И. И. Введенским в том, что издание «Тетушки» было бы невозможно даже в относительно либеральном 1845 г., он просит для печати произведения без «следов чего-нибудь жоржзандовского, вольтеровского (которым обилует Ваша “Тетушка”), григоровического, искандеровского и т. д.» (Чернышевский 1939–1953: 14, 209).

Быть может, наряду с новаторскими тенденциями пьес Михайлова, симпатию к ним университетских его знакомых усиливала

именно причастность к традиции XVIII в. С одной стороны, студентам и молодым преподавателям, прошедшим семинарии или провинциальные гимназии, старинная литература была хорошо знакома, эстетически родственна, хотя порой они из юношеского протеста ее и бранили. С другой стороны, в те годы переоценки романтизма происходило научное открытие отвергнутой романтиками литературы XVIII в. (Берков 1964: 51–127), в процессе которого вдруг обнаруживалась ее актуальность. Многие забытые тексты стали вновь доступны публике благодаря выпущенной А. Ф. Смирдиным серии переизданий, среди которых и давно не печатавшиеся сочинения Екатерины II в 3 ч. (1849–1850).

Осмысление всего этого заново, словно впервые прочитанного литературного наследия приобретало злободневный, но довольно элитарный оттенок: архаические увлечения ученой, отчасти литературной среды остались чужды широкому читателю, не пополнили старыми пьесами театральный репертуар (История 1979: 61–62). И все же нельзя недооценивать проявлений на рубеже 1840–50-х гг. интереса к словесности XVIII в., в том числе драматургии — от анонимной статьи (История 1847) в № 1–2 «Сына Отечества» за 1847 г. (Михайлов печатался в № 3) до подготовленной еще в 1835 г. книги князя П. А. Вяземского о Д. И. Фонвизине (Вяземский 1848): резонанс этого едва ли не первого в России историко-литературного труда был огромен. В 1852 г. получил профессорскую кафедру в Санкт-Петербургском университете и стал близко общаться с кругом Михайлова и Чернышевского их сверстник М. И. Сухомлинов, защитивший в 1850 г. в Харькове диссертацию по истории русской драмы. Там, правда, рядом с Сумароковым, Фонвизиным, Княжниным еще не упоминается Екатерина II (Сухомлинов 1850), но именно в эти годы ее сочинения показались неожиданно современными благодаря своему критическому пафосу, которым выгодно отличались от официальной литературы николаевской эпохи, а в последовавшие за нею годы реформ оправдывали резкость журнальной полемики: см. статьи М. Макарова (Макаров 1844) и М. Н. Лонгинова (Лонгинов 1857),

монографию А. Н. Афанасьева (Афанасьев 1859), рецензию на нее Н. А. Добролюбова (Добролюбов 1961–1964: 5, 313–401), впервые напечатанную без подписи в № 10 «Современника» за 1859 г. под названием «Русская сатира в век Екатерины», а также дискуссию между последним, скрывшимся за псевдонимом Лайбов, и А. Д. Галаховым по поводу «Собеседника любителей российского слова», развернувшуюся в 1856 г. (Добролюбов 1961–1964: 1, 182–279, 279–286; Галахов 1856; Галахов 1856а). Юный Добролюбов двойственно относился к творчеству императрицы, прочие были менее суровы, и даже непримиримый критик ее произведений Берков через сто лет был вынужден признать прогрессивность высоких оценок екатерининской сатиры в культурной ситуации середины XIX в. (Берков 1964: 58–59). С авторами ряда статей о царице-писательнице Михайлов был близко знаком, особенно с Лонгиновым и Добролюбовым по редакции «Современника».

Восприятие XVIII столетия этими во многом противоположными друг другу литераторами было, конечно, несходно, но в равной степени пристрастно. Выпускник Царскосельского Лицея (а затем и юридического факультета Петербургского университета), представитель фрондирующей и развлекающейся светской молодежи, Лонгинов был не чужд ностальгии по золотому веку вольнодумной аристократии, судьбам которой посвящена едва ли не большая часть сочинений этого плодовитого автора: от ранней статьи в «Современнике» о В. В. Капнисте, создателе «Ябеды» и «Оды на рабство» (Лонгинов 1849), до первой в России монографии о масонстве (Лонгинов 1867)[2]. Добролюбов, разночинец, окончивший Педагогический институт, шестидесятник, радикал и позитивист, ощущал преемственность своих убеждений по отношению к идеям эпохи Просвещения, как и увлеченные уже в конце 40-х гг. утопическим социализмом посетители кружка Введенского (в том числе Чернышевский). Поэтому юный критик страстно негодует (разумеется в пределах, дозволенных цензурой) против попыток

[2] Интересно, что круг интересов Лонгинова и Пыпина по отношению к XVIII веку в значительной мере совпадают.

отступить от заветов «Энциклопедии», допущенных журналистами XVIII столетия. Позиция Михайлова была, очевидно, более умеренной, хотя более принципиальной, чем изменчивые умонастроения Лонгинова.

Показательной аналогией интересам петербургской молодежи к творчеству Екатерины II служат студенческие занятия Л. Н. Толстого, сверстника Чернышевского и Михайлова. Весной 1847 г. в Казанском университете по предложению профессора Д. И. Мейера он увлеченно сопоставлял «Наказ» с трудами Монтескье и других философов эпохи Просвещения. «Работа эта идет совсем не в том направлении, какое требовалось от студента: это не историко-юридический анализ старинного памятника, а критика его отдельных положений и полемика с их автором как с современником. Толстой изучает “Наказ” Екатерины не как студент юридического факультета, а как человек, готовящийся к государственной деятельности или к составлению собственного жизненного наказа» (Эйхенбаум 2009: 765). Хотя мировоззрение юного Толстого заметно отличалось от взглядов Лонгинова, Михайлова и особенно Добролюбова, он столь же остро ощущал злободневность текстов прошедшего века. По справедливому наблюдению Б. М. Эйхенбаума, в период анализа источников екатерининского «Наказа» «юный Толстой вместе со своим поколением, со своей эпохой вступал в мир социально-утопических идей (“перестроивал весь мир божий”). Именно в этой связи возникло увлечение идеями Руссо и Монтескье, открывшее Толстому “бесконечные горизонты”. <…> Для Толстого Руссо и Вейс (в затем и Монтескье) были важной опорой для борьбы со “скептицизмом”, с чрезмерной умозрительностью — с тем состоянием, “когда ум за разум заходит”» (Эйхенбаум 2009: 764). Вероятно, подобное обращение к литературе эпохи Просвещения было закономерно для многих людей сороковых, а затем и шестидесятых годов, разочарованных в романтической и гегелевской философии, иногда же — в традиционном религиозном мировоззрении, от которого нередко отказывались, поступив в университет, недавние семинаристы-разночинцы.

Упомянутые выше ценители «Тетушки» тоже интересовались драматургией XVIII в. Правда, Чернышевский давал ей, как и почти всей мировой литературе, убийственные характеристики, но все же именно ее избрал предметом кандидатской диссертации 1850 г. и сочинения для магистерского экзамена 1854 г. по истории словесности: соответственно о «Бригадире» Фонвизина и о трагедиях Сумарокова, Княжнина, Озерова (Чернышевский 1939–1953: 2, 792–815, 816–817). Пыпин, о чьих ранних работах уже шла речь, учась на четвертом курсе, в 1853 г. тоже написал курсовое сочинение на тему «Рассмотреть и сравнить главные комедии Сумарокова, Фонвизина, Княжнина и князя Шаховского в отношении к содержанию, форме и языку, а в заключении представить общий взгляд, на какую степень эта отрасль словесности была возведена у нас означенными писателями». Профессор А. В. Никитенко назвал эту диссертацию превосходной, как и поданную на ту же тему работу студента второго курса О. Ф. Миллера, впоследствии немало сделавшего для изучения словесности XVIII в. Третья диссертация на ту же тему оценена Никитенко как неудачная, автор ее не указан (Никитенко 1893: 543). Первая публикация Пыпина (Пыпин 1853) обратила внимание ученой публики на В. И. Лукина, драматурга-разночинца, теоретика склонений на отечественные нравы, который наряду с П. А. Плавильщиковым вскоре стал популярен, особенно у сторонников почвеннических и народнических взглядов[3]: бытовые нравоучительные и чувствительные старинные пьесы не без основания ассоциировались со школой Островского (см., например, Фомин 1893). В конце жизни именно Пыпин издал самое полное собрание сочинений Екатерины II в 12 томах (1901–1907, не вышел шестой том), первые четыре составляет драматургия.

---

[3] Впрочем, интерес к Лукину проявили и некоторые западники. Л. П. Гроссман справедливо отметил переклички с пьесой «Мот, любовию исправленный» сцен Тургенева из петербургской жизни «Безденежье» (1845) (Гроссман 1924: 43–44). О преемственной связи этого раннего образца драматургии натуральной школы с другой комедией XVIII в. — «Хвастуном» Княжнина см. Веселова, Гуськов 2003: LI.

Введенский, в чьем кружке с успехом читали «Тетушку», тоже окончил университет (со степенью кандидата), но рано умер, не успев сделать научную или литературную карьеру. Однако из его сочинений особенно известны статьи о поэтах XVIII в. — В. К. Тредиаковском и Г. Р. Державине (Введенский 1849а; Введенский 1849б). Похвал, подобных тем, какие возглашал XVIII столетию биограф и последователь Введенского Благосветлов, нелегко отыскать в обширной литературе, посвященной данному периоду: «Не было ни одной эпохи, которая бы так широко и глубоко волновала ветхий мир, так была богата великими деятелями мысли и результатами ее, по крайней мере, никогда любовь к истине не заявила себя такими благородными жертвами, не возбуждала такого энтузиазма и сочувствия, как в прошлом столетии. Это был век умственного потрясения во всех человеческих верованиях, убеждениях и надеждах. Его дух доселе живет с нами; его горячее и вдохновенное слово доселе раздражает нервы и трогает сердце; его школа была школой всего человечества. И за всем тем он не нашел себе ни достойного критика, ни историка. Его мнения, которые мы принимаем за новость вчерашнего дня, давно обратились в мертвый капитал архива или библиотеки; многие из его бойцов, отмеченных необыкновенным дарованием и энергией, едва известны по именам; из его главной идеи, в высшей степени человечной и миролюбивой, одни сделали пугало разрушения и смерти, другие — общее место похвалы или удивления; но никто не представил полной и живой картины; никто не определил ни внутреннего смысла, ни влияния его» (Благосветлов 1882: 264). Предостерегая вслед за Михайловым от предубежденного отношения к культуре XVIII в., Благосветлов с грустью признавал: «Впрочем, для спокойного воззрения на этот век еще не пришло время. <…> Наш суд не может быть беспристрастным, потому что страсти, дух партий, слава и казни этой эпохи еще не совсем отделились от нас» (Благосветлов 1882: 264–265). Несмотря на неизбежную пристрастность, проницательные характеристики литературного процесса XVIII в. в давно позабытых работах (Благосветлов 1866;

Благосветлов 1867)[4] заслуживают подробного специального рассмотрения. Ограничимся кратким методологическим замечанием.

Критик настаивал на рассмотрении литературного материала в полном объеме без ранжирования, поскольку эстетические критерии переменчивы, формы воздействия текстов на общество, культуру многообразны, иметь историческое значение, приносить внелитературную пользу могут произведения, не впечатляющие потомков, гениальные же творения часто оставляются современниками без внимания. Эти очевидные для нас суждения звучали в середине XIX в. ново, почти парадоксально, но находили, видимо, сочувствие в том круге ученых и журналистов, которым посвящена предлагаемая статья. Рассуждения Благосветлова явно перекликаются с исследовательским методом Пыпина и объясняют, почему молодые филологи и писатели, не испытывая эстетических восторгов перед старинной словесностью, порой резко отзываясь о ней, так настойчиво обращались к ней в научных изысканиях и даже в творческих опытах: они ощущали актуальность и пользу родственных идей, сходных умонастроений и целей. Поэтому-то Чернышевский, презирая словесность XVIII столетия, рекламирует изобилующую «вольтеровским» «Тетушку» Михайлова и в собственном романе обращается к традициям просветительской прозы (Белова 1994). Представляется, что П. А. Грачев очень метко возвел поведение Чернышевского к типу «добродушного мизантропа», уходящему «корнями в журнальную полемику XVIII века» (Грачев 1997: 48).

Не удивительно, что, преподавая в Дворянском полку, Благосветлов воспитал одного из главных подвижников изучения русского XVIII столетия, будущего издателя «Русской старины», большей частью посвященной этой эпохе, — М. И. Семевского. Под руководством Благосветлова он работал над «Историей русской

[4] В известном библиографическом указателе анонимная статья приписана Г. З. Елисееву (История 1968: 23). В историографическом труде Беркова (Берков 1964: 125) и Благосветлов, и Елисеев лишь упомянуты в общем перечне со ссылками на другие работы.

народной комедии», не завершенной, но частично обнародованной весной 1855 г. на выпускном экзамене, а осенью представленной на суд А. Н. Островского. «Я с вами не совсем согласен, — возразил автор “Своих людей”, — Аблесимов был вполне народный писатель, в нем едва ли не более, чем у всех того времени авторов, заметно стремление к изображению действительного мира. Он не виноват, что в его время не было еще той формы истинного согласия с нашей народностью, коей он мог бы вполне художественно облечь свое талантливое произведение. <…> Превознося “Опекуна” <пьесу Сумарокова — *Н. Г.* >, вы находите недостатки во всех остальных его комедиях, я не согласен, чтобы “Лихоимец” был ниже “Опекуна” <…>, притом же ваши обвинения излишне однообразны» (Островский 1966: 35).

Подход Островского к драматургии XVIII в. напоминает принципы Михайлова и Пыпина, заявленные в рецензиях на книгу Булича о Сумарокове, но по объективности и проницательности гораздо ближе к современной нам научной точке зрения. Основательно разбираясь в старинном репертуаре, Островский точно подмечает историческое, общественное, эстетическое значение пьес, не смешивая и не подменяя критериев оценки. Эта позиция близка и к той, что высказана позднее в статьях Благосветлова. Не исключено, что Семевский, несомненно, воспользовавшийся рекомендациями драматурга, поделился ими и с учителем. Во всяком случае, в 1867 г. Благосветлов в качестве лучших комедий Сумарокова наряду с «Опекуном» назвал «Лихоимца» и почти дословно повторил характеристику Аблесимова Островским (Благосветлов 1867: 42, 60–62).

Записанное Семевским обсуждение старинных комедий имело наряду с ученым интересом и понятный обоим собеседникам злободневный подтекст. Чернышевский в № 5 «Современника» за 1854 г. причислил «Бедность — не порок» «к тому же роду произведений, как “Мельник” Аблесимова — она сборник народных песен и обычаев; разница только та, что у Аблесимова народные мотивы ловко введены в самое действие пьесы, а у вас <Островского и его

почитателей — *Н. Г.* > приставлены к пьесе очень неловко и большею частью не имеют с нею никакой связи. Не говорим уже о том, что “Мельник” был первою пьесою, в которой услышала публика народные мотивы» (Чернышевский 1939–1953: 2, 239–240). Если учесть общепринятую тогда снисходительность по отношению к «Мельнику», ясно, что предпочтение, отданное рецензентом этой опере при сопоставлении с новой комедией Островского, — суровый приговор последней. Драматург же в разговоре с Семевским, увлеченным идеями «Современника», косвенно реабилитировал ее: убежденно обосновав истинную народность и общественную пользу «Мельника», он подтвердил преемственную связь своих театральных экспериментов с оперой Аблесимова, но именно это теперь возвысило бы их в глазах собеседника.

«Александр Николаевич, — записал Семевский в конце 1855 г., — посоветовал мне обратить внимание на *Судовщикова* <курсив автора — *Н. Г.* > комедию “Неслыханное диво, или Честный секретарь”. Прочтя ее, я согласился с ним, что она несравненно выше “Ябеды” Капниста и должна быть введена для сравнения с последней в “Историю русской народной комедии”» (Островский 1966: 35–36). Рекомендации драматурга свидетельствуют об органической взаимосвязи его общественных настроений, творческих замыслов и размышлений об опыте предшественников: через четыре месяца состоялась шумная премьеры «Чиновника» графа В. А. Соллогуба, которая открыла череду обличительных пьес, а через три года Островский поставил «Доходное место», где прямо цитируется «Ябеда» Капниста (Островский: 94, 678, 696) и обыгрывается фабула комедии Н. Р. Судовщикова «Неслыханное диво, или Честный секретарь».

Рассмотренный в статье материал может показаться разнородным, но внимательное его изучение показывает, что это не так. Частный вопрос о причинах успеха пьес Михайлова у его университетского окружения подводит нас к важным размышлениям о тесной связи между литературными и научными интересами молодежи конца 1840-х — начала 1850-х гг., об обстоятельствах

возникновения академической науки о русской словесности XVIII столетия, о взаимодействии формирующейся реалистической литературы середины XIX в. с традициями эпохи Просвещения. Каждая из этих проблем еще сулит исследователям немало интересного.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьев 1859 — *Афанасьев А. Н.* Русские сатирические журналы 1769–1774 гг. (эпизод из истории русской литературы XVIII века). М., 1859.
2. Белова 1994 — *Белова Н. М.* Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и просветительская литература XVIII века // Н. Г. Чернышевский. История. Философия. Литература. Саратов, 1994. С. 117–126.
3. Берков 1964 — *Берков П. Н.* Введение в изучение истории русской литературы XVIII века. Ч. 1. Л., 1964.
4. Благосветлов 1856 — *Благосветлов Г. Е.* Исторический очерк русского прозаического романа // Сын Отечества. 1856. № 28. С. 27–33, № 31. С. 90–96, № 38. С. 250–257.
5. Благосветлов 1866 — [*Благосветлов Г. Е.*] Русская литература XVIII столетия и ее история // Дело. 1866. № 2. Отд. 3. С. 1–49.
6. Благосветлов 1867 — [*Благосветлов Г. Е.*] Русская литература XVIII столетия и ее история // Дело. 1867. № 3. Отд. 3. С. 20–74.
7. Благосветлов 1882 — *Благосветлов Г. Е.* Сочинения. СПб., 1882.
8. Быков 1913 — *Быков П. В.* М. Л. Михайлов: критико-биографический очерк // Михайлов М. Л. Полное собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1913. С. V–XLIII.
9. Введенский 1849а — *Введенский И. И.* Державин // Северное обозрение. 1849. № 1. С. 106–148.
10. Введенский 1849б — *Введенский И. И.* Тредиаковский: статья первая // Северное обозрение. 1849. № 5. С. 428–452.
11. Веселова, Гуськов 2003 — *Веселова А. Ю., Гуськов Н. А.* Комедии Я. Б. Княжнина // Княжнин Я. Б. Комедии и комические оперы СПб., 2003. С. III–LII.
12. Вяземский 1848 — *Вяземский П. А.* Фонвизин. СПб., 1848.
13. Галахов 1856 — *Галахов А. Д.* Были и небылицы, сочинение императрицы Екатерины Второй // Отечественные записки. 1856. № 10. Отд. 2. С. 43–85.
14. Галахов 1856а — *Галахов А. Д.* Неудачная апология в «Современнике» // Отечественные записки. 1856. № 12. Отд. 4. С. 132–139.
15. Грачев 1997 — *Грачев А. П.* «Русский реформатор» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»: к генезису образа М. М. Сперанского // Н. Г. Чернышевский: статьи, исследования и материалы. Сб. 12. Саратов, 1997. 43–49.

16. Гроссман 1924 — *Гроссман Л. П.* Театр Тургенева. Пг., 1924.
17. Добролюбов 1961–1964 — *Добролюбов Н. А.* Собрание сочинений: в 9 т. М.; Л., 1961–1964.
18. История 1847 — История драматической поэзии у русских // Сын Отечества. 1847. № 1. С. 47–88; № 2. Отд. 5. С. 1–48.
19. История 1968 — История русской литературы XVIII века: библиографический указатель / сост. В. П. Степанов, Ю. В. Стенник, под ред. П. Н. Беркова. Л., 1968.
20. История 1979 — История русского драматического театра: в 7 т. Т. 4. М., 1979.
21. Лонгинов 1849 — [*Лонгинов М. Н.*]. Сочинения Капниста // Современник. 1849. № 10. Отд. 3. С. 69–80.
22. Лонгинов 1857 — *Лонгинов М. Н.* Драматические сочинения Екатерины II // Молва. 1857. № 3. 27 апреля. С. 32–34; № 4. 4 мая. С. 42–44; № 5. 11 мая. С. 58–61.
23. Лонгинов 1867 — *Лонгинов М. Н.* Новиков и московские мартинисты. М., 1867.
24. Макаров 1844 — *Макаров М.* Екатерина II, императрица русская, на поприще драматическом // Репертуар и Пантеон. 1844. № 1. Отд. 2. С. 172–179.
25. Михайлов 1852 — *Михайлов М. Л.* Кумушки // Отечественные записки. 1852. № 12. Отд. 1. С. 171–194.
26. Михайлов 1854 — [*Михайлов М. Л.*] [Рецензия на: Булич Н. Н. Сумароков и современная ему критика. СПб., 1854] // Библиотека для чтения. 1854. № 2. Отд. 6. С. 12–24.
27. Михайлов 1854а — *Михайлов М. Л.* Старые книги. Путешествие по старой русской библиотеке. Статья первая // Библиотека для чтения. 1854. № 2. Отд. 6. С. 34–62.
28. Михайлов 1860 — *Михайлов М. Л.* Тетушка // Русское слово. 1860. № 1. С. 354–391.
29. Никитенко 1893 — *Никитенко А. В.* Записки и дневники. 1826–1877: в 3 т. Т. 1. СПб., 1893.
30. Островский 2020 — *Островский А. Н.* Полное собрание и писем: в 18 т. Т. 2. Кострома, 2020.
31. Островский 1966 — А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.
32. Пыпин 1853 — *Пыпин А. Н.* Владимир Лукин // Отечественные записки. 1853. № 8. Отд. 2. С. 39–76; № 9. Отд. 2. С. 1–30.
33. Пыпин 1854 — [*Пыпин А. Н.*]. [Рецензия на: Булич Н. Н. Сумароков и современная ему критика. СПб., 1854] // Санкт-Петербургские ведомости. 1854. 17 апреля. С. 403–406; 18 апреля. С. 410–412.

34. Пыпин 1854а — *Пыпин А. Н.* О романах в старинной русской литературе // Современник. 1854. № 12. Отд. 2. С. 59–110.
35. Пыпин 1857 — *Пыпин А. Н.* Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских. СПб., 1857.
36. Сухомлинов 1850 — *Сухомлинов М. И.* Взгляд на исторический ход русской драмы (Рассуждение, написанное для получения степени магистра русской словесности). Харьков, 1850.
37. Фомин 1893 — *Фомин А. А.* Старое в новом (Отголоски комедии XVIII века в комедиях нашего времени) // Русская мысль. 1893. № 3. Отд. 2. С. 28–36.
38. Чернышевский 1939–1953 — *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений: в 15 т. М., 1939–1953.
39. Эйхенбаум 2009 — *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой: исследования; статьи. СПб., 2009.

Ульрике Екуч
(Грейфсвальд)

ЛИТЕРАТУРА НА СЛУЧАЙ: ОБ ОДНОЙ ДЕРПТСКОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ РЕЧИ

Литературоведы занимаются не только художественными текстами, но также сочинениями непоэтическими — например, философскими, теологическими или публицистическими. Среди них выделяется группа произведений, написанных на разные случаи. Эта группа охватывает речи и статьи, посвященные историческим или актуальным (политическим, культурным или научным) событиям или связанным с этими событиями лицам. Часть из них посвящена памяти знаменитых деятелей истории, науки, культуры и литературы, которых вспоминают в рамках официального торжества какой-либо институции (государственной, церковной или научной). Такие тексты могут реализовываться устным и/или письменным способом — как речь в торжественном собрании и/или напечатанная отдельной брошюрой статья.

К сочинениям на случай принадлежат, в частности, университетские речи, которые произносятся в процессе торжества по случаю юбилеев. Произносимые на торжественных заседаниях, посвященных памяти события или человека, они должны содержать характеристику того или тех, кому они посвящены; поскольку они презентуются в научных институциях, в них присутствует тема науки; наконец, так как их адресатом являются члены академической корпорации, представляющие разные научные дисциплины, а также слушатели «неакадемические», они должны быть общедоступны. Таким образом, эти речи находятся в пограничной зоне между похвальной речью, научным сообщением и публицистикой. В настоящей статье мы рассмотрим речь к столетию со дня рождения

Василия Жуковского, которая была произнесена 29 января 1883 г. в Императорском Дерптском университете.

Жуковский был связан с Дерптом семейными и дружескими узами — там жила его возлюбленная Мария Протасова, там жили и многие его друзья. С 1814 г. Жуковский часто ездил в Дерпт, там у него сложились прочные дружеские отношения с некоторыми местными жителями и сотрудниками университета. В начале 1816 г. Дерптский университет наградил его званием почетного доктора историко-философского факультета. Это была первая из нескольких подобных наград, которые Жуковский получал на протяжении всей жизни. На своем торжественном собрании 1883 г. Дерптский университет чествовал Жуковского не только как поэта, но и как члена университетской корпорации. Речь, приуроченную к столетию со дня рождения Жуковского, произносил профессор русского языка и литературы П. А. Висковатов на немецком языке[1]. Немного позже она была напечатана отдельной брошюрой (Viskovatov 1883).

В начале своей речи Висковатов подчеркивает важное значение даты 29 января для «истории умственной жизни нашего отечества» (Viskovatov 1883: 3)[2]: это день рождения Жуковского и день смерти Пушкина. Потом дается общая оценка тех сторон деятель-

---

[1] П. А. Висковатов (1842–1905) завершил свое обучение в Лейпцигском университете диссертацией о немецком гуманисте Якобе Вимпфелинге. С 1873 г. до 1895 г. он изучал русский язык и литературу в Дерптском университете. Восстановленный в 1802 г. Императорский Дерптский университет пользовался тогда еще привилегиями, которые Петр Великий дал балтийским землям, захваченным им в 1710 г. и в 1721 г. интегрированным в Российскую империю. В университете сохранялись традиционный правопорядок и управление с использованием немецкого языка как официального. Царь, который старался реформировать империю по шведскому образцу, рассматривал балтийские земли как еще одно российское «окно в Европу», как прообраз будущего правопорядка в государстве. Балтийские привилегии сохраняли свою силу до 1895 г., до этого времени доминировал в Дерптском университете и немецкий язык (Donnert 2007: 135).

[2] Здесь и далее перевод мой. — *У. Е.*

ности Жуковского, значение которых для русской культуры ранее не признавалось ни наукой, ни обществом. По Висковатову, оно состоит в многогранности проявлений его натуры: как поэта, переводчика, публициста и воспитателя. Автор замечает, что широко известны лишь заслуги Жуковского в области поэзии и поэтического перевода, в то время как его вклад в развитие русской педагогики и его роль в воспитании императора Александра II привлекали мало внимания исследователей.

Речь связывает хвалебную характеристику поэтического и переводческого творчества Жуковского с панегириком ему как человеку и культурному деятелю. В первой части Висковатов подробно объясняет, какое воздействие оказал Жуковский на интеллектуальную жизнь России. Он указывает на его посредничество между европейскими (английской и немецкой) и русской культурами и на влияние, которое его переводы философских и педагогических трудов и передаваемое им европейское сознание эпохи романтизма оказывали на развитие гуманитарных наук и общественной мысли в стране. Висковатов характеризует Жуковского как культурного посредника между Россией и Европой, который сочетал открытость всему европейскому со «здоровым патриотизмом» (Viskovatov 1883: 4). Такой патриотизм не позволяет общечеловеческому чувству отступать перед национальным: Жуковский никогда не уделял основного внимания национальному элементу, его прежде всего интересовал человек сам по себе. Далее поэт изображается как представитель круга по-новому мыслящих людей, основоположников нового романтического способа мышления и миропонимания в России. Жуковский сопоставляется с Карамзиным и рассматривается как продолжатель трудов своего старшего друга-наставника. По Висковатову, такие группы по-новому мыслящих людей играли важную роль в начале каждой новой эпохи — в качестве примеров он называет в том числе европейских гуманистов, творивших на пороге Нового времени, а в России Н. И. Новикова и И. Г. Шварца — двух друзей, являвших собою образец русско-немецкой дружбы, основателей «Дружеского

ученого общества», члены которого инициировали в России основание нескольких журналов, публичных библиотек, частных типографий и т. д. Карамзин, а затем Жуковский открыли россиянам посредством журнала «Вестник Европы» новое европейское мировоззрение, а Жуковский пробудил в российском обществе интерес к эстетике романтизма. Висковатов считает поэзию Жуковского еще не вполне романтической (ей не хватает народности), но его культурное посредничество являет собою «мост, который связывает прошлое с подготовливаемым Пушкиным национальным направлением» (Viskovatov 1883: 8). Далее оратор указывает на полное отсутствие у Жуковского зависти к успехам коллег и представляет его как человека, который всегда использовал свою близость к царской семье, чтобы помогать притесненным талантам, в том числе Пушкину, Шевченко, Гоголю, Кольцову и Лермонтову[3]. Он также сообщает о дружеских связях Жуковского с дерптскими учеными и с жителями города Дерпта, особо подчеркивает автор дружбу поэта с его биографом К. К. Зейдлицем[4].

Во второй, биографической, части своего выступления Висковатов характеризует частную жизнь Жуковского как «тщетные поиски семейного счастья» (Viskovatov 1883: 19). Он говорит о том, что поэт родился и провел детство в доме Буниных, подчеркивая двусмысленность положения внебрачного сына при аристократе-отце, семейству которого служила мать Жуковского. Испытанное Жуковским унижение сформировало в нем, по Висковатову, сострадание к жертвам несправедливых обид, а также желание и готовность

[3] «Мы ему обязаны за сохранение нескольких людей, которые образуют гордость народа» (Висковатов 1883: 19).

[4] К. К. Зейдлиц (1798–1855) издал в 1870 г. основанную на своих воспоминаниях биографию Жуковского (W. A. Joukoffsky. Ein russisches Dichterleben. Mitau, 1872). В начале 1883 г., еще до столетия со дня рождения Жуковского, появилась переработанная версия этой книги в русском переводе под заглавием «Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. По неизданным источникам и личным воспоминаниям». В том же году Зейдлиц также опубликовал собрание писем Жуковского (см. Никонова 2015: 102–103; Веселовский 1999: 137; Жуковский 2023: 681–683) с предисловием Висковатова.

помогать несчастным[5]. Чувствительность, отзывчивость к страданиям людей пробуждал Жуковский и в своем царском воспитаннике: «весь народ не забудет, что Василий Андреевич Жуковский сумел укоренить свою великодушную любовь к людям в сердце своего царского питомца»[6].

Наконец, Висковатов обращается к отношениям Жуковского с Императорским Дерптским университетом. Как он говорит, Жуковский с первого его путешествия в Дерпт знакомился с жителями города и с сотрудниками университета. Среди них он нашел друзей на всю жизнь. Университет обязан ему глубокой благодарностью, ибо поэт уже в 1816 г. заступился за университет, которому тогда угрожало лишение академических свобод. В Дерпте он проводил «самые болезненные и самые счастливые дни его жизни» (Viskovatov 1883: 21), там он хотел провести последние свои годы и именно там быть погребенным. Оба эти желания не исполнились: уже подготовленному переезду в Дерпт помешала смерть Жуковского, и он был погребен в Санкт-Петербурге рядом с могилой его друга и наставника Карамзина.

Речь Висковатова соответствует структуре и требованиям университетской юбилейной речи. После обращения к участникам собрания следует объяснение общего значения юбилейного дня, а потом перечисляются заслуги чествуемого лица перед русской поэзией, культурой и наукой. Сначала упоминаются его «превосходные стихи», но главной его заслугой признается посредническая деятельность между Европой и Россией, то есть передача актуальных тогда европейских культурных дискурсов. Это посредничество, как уже было отмечено, осуществлялось через переводы литературных и научных (философских, эстетических, педагогических) сочинений на русский язык и через различные сообщения

---

[5] Ср.: «Тяжелая школа внутренней борьбы сформировала в нем правдивого благородного человека. Он понимал страдания людей и был всегда готов протянуть им руку помощи» (Viskovatov 1883: 19).

[6] «Was aber die ganze Nation Wassily Andrejewitsch Joukoffsky nie vergessen wird, ist, dass er es verstanden, seine hochherzige Menschenliebe in das Herz seines kaiserlichen Zöglings zu verpflanzen» (Viskovatov 1883: 19).

о встречах с европейскими поэтами и учеными. Одновременно Висковатов предостерегает от возможной односторонней интерпретации этого посредничества, ибо открытость Жуковского к новым европейским направлениям в поэзии и философии соединялась с глубокой любовью к русскому отечеству, к «здоровому патриотизму» без какого-либо национализма. Таким образом, оратор хвалит Жуковского прежде всего как посредника романтической школы в поэзии, эстетике и педагогике, заслуги которого — кроме области поэзии — еще почти не признаны наукой. Оратор делает акцент на не исследованных ранее аспектах деятельности Жуковского.

После перечисления заслуг юбиляра перед интеллектуальной культурой России Висковатов переходит к его частной жизни. Он представляет Жуковского как человека, который, несмотря на испытанные им обиды и унижения, остался благороден, отличался дружелюбием и готовностью помогать незаслуженно притесняемым и особенно талантливым людям.

Наконец, Висковатов возвращается к взаимоотношениям Дерптского университета с Жуковским. Он называет имена некоторых дерптских друзей поэта и указывает на то, что среди участников университетского торжества находится врач Карл Карлович Зейдлиц, который уже упоминался в начале речи как старый и самый близкий друг Жуковского в Дерпте. При втором упоминании Зейдлиц представлен как человек, который подготовил переезд Жуковского в Дерпт.

Речь, произнесенная 29 января 1883 г., была напечатана 1 апреля того же года отдельной брошюрой объемом 23 страницы. Издание дает читателю дополнительные сведения о причинах решения Дерптского университета в 1816 г. наградить Жуковского званием почетного доктора. На последних двух страницах под заглавием «Прибавление» опубликованы два документа из дела о присуждении звания почетного доктора «господину титулярному советнику и кавалеру ордена Св. Анны» (Viskovatov 1883: 22) Жуковскому:

1) Сообщение о причинах, которые побудили историко-философский факультет направить ректору и университетскому совету

предложение о награждении Жуковского. Сообщение состоит из короткого введения и цитированного отрывка из документа, в котором Жуковский характеризуется как «в настоящее время один из первых поэтов России, который, как это признано всеми, будучи знаком с духом лучших поэтов и философов зарубежных стран, вносит большой вклад в развитие высокой интеллектуальной культуры в России»[7]. Двухтомное издание его «превосходных стихотворений»[8] и «вся совокупность его трудов» дали повод для инициативы факультета «наградить превосходного ученого званием почетного доктора» и «тем самым продемонстрировать, как высоко университет ценит усилия людей, направленные на продвижение интеллектуальной культуры внутри империи»[9].

2) Письмо Жуковского от 1 мая 1816 г. к декану историко-философского факультета, Фердинанду Гизе, в котором он выражает свою благодарность и радость в связи с оказанной ему честью и обещает рассматривать ее не как награду, но как требование, которое возложит на него «святую обязанность все больше стремиться быть полезным» (Жуковский 2019: 480).

Как автор юбилейной речи, Висковатов дает сжатый обзор жизни и деятельности Жуковского и представляет его как поэта, культурного посредника и образцового человека. В своей университетской лекции он сосредоточивается на заслугах Жуковского перед русской культурой и наукой, которые он видит прежде всего в его культурном посредничестве между Европой и Россией. Висковатов также подчеркивает длительные близкие отношения

---

[7] «Gegenwärtig einer der ersten Dichter Russlands, allgemein als derjenige bekannt, welcher, vertraut mit dem Geiste der besten Dichter und Philosophen des Auslands, vieles zur höheren Geistescultur in Russland beiträgt» (Viskovatov 1883: 22).

[8] Эта характеристика относится к первому изданию стихотворений Жуковского в 2 частях (СПб., 1815–1816).

[9] «Dadurch zugleich von ihrer Seite den Beweis abzulegen, wie sehr dieselbe die Bemühungen von Männern zu schätzen weiss, welche auf die Beförderung der Geistescultur im Innern des Reiches gerichtet sind» (Viskovatov 1883: 23).

между Дерптом и Жуковским и ту чрезвычайно важную роль, которую город как место соединения немецкой и русской культуры сыграл в жизни Жуковского. Торжеством в честь столетия со дня рождения Жуковского Императорский Дерптский университет не только чествует юбиляра, но и подчеркивает значение балтийских провинций для российской культуры. Одновременно университет доказывает, что он хранит воспоминания о своем почетном докторе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Веселовский 1999 — *Веселовский А. Н.* В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». М., 1999.
2. Жуковский 2019 — *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 15: Письма 1795–1817-х гг. 2-е изд. М., 2019.
3. Жуковский 2023 — *Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 17 (2): Письма 1832–1836 гг. Томск, 2023.
4. Никонова 2015 — *Никонова Н. Е.* В. А. Жуковский и немецкий мир. М.; СПб.: 2015.
5. Donnert 2007 — *Donnert E.* Die Universität Dorpat-Jur'ev 1802–1918. Ein Beitrag zur Geschichte des Hochschulwesens in den Ostseeprovinzen des Russischen Reichs. Frankfurt a. M. [u. a.], 2007.
6. Viskovatov 1883 — [*Viskovatov P. A.*] Rede zur Feier des hundertjährigen Geburtsfestes von W. A. Joukoffsky am 29. Januar 1883 gehalten von Dr. Paul von Wiskowatow. Herausgegeben von der Kaiserlichen Universität Dorpat. Dorpat, 1883.

Анна Варда
(Лодзь)

П. Е. БУХАРКИН: МОИ ПЕТЕРБУРГСКИЕ И ЛОДЗИНСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Мое знакомство с профессором Петром Бухаркиным началось, по сути, в 2014 г., однако еще в 1997 г., во время моей двухмесячной научной стажировки в Санкт-Петербург, мне посчастливилось увидеть его вживую. Именно тогда другой выдающийся исследователь XVIII века, профессор (с 2019 г. — академик) Сергей Николаев, который был моим научным консультантом во время стажировки, сообщил мне о публичной защите докторской диссертации тогда еще кандидата наук Петра Бухаркина.

Ведомая любопытством — не только из-за самой формы защиты (в Польше в то время они проходили перед Советом факультета соответствующего университета и носили закрытый характер), но и из-за личности соискателя — я с большим волнением отправилась на это научное мероприятие, проходившее в стенах Санкт-Петербургского государственного университета. С Петром Бухаркиным я была знакома лишь по его публикациям, появлявшимся, в частности, в хорошо известном сборнике Отдела русской литературы XVIII века Пушкинского Дома Российской академии наук. Главный герой этого события — Петр Бухаркин — выделялся своей высокой фигурой, серьезностью, сосредоточенностью и необыкновенным спокойствием, которое отражалось как на его лице, так и в поведении. Он внимательно слушал зачитываемые рецензентами исключительно положительные отзывы о своей диссертации. Примечательно, что в них не было ни единого замечания — только одобрение и признание научных достижений соискателя. Тогда нам не удалось познакомиться лично — после

защиты к нему выстроилась очередь поздравляющих, а я не решилась подойти и лишь издалека наблюдала за этим харизматичным ученым, который на защите блестяще подтвердил свой научный авторитет.

В 2015 г. должна была отмечать свой юбилей моя научная руководительница и наставница — профессор Элиза Малек, которая со времен учебы в Петербурге была тесно связана с местным научным сообществом. В качестве организатора юбилейных торжеств я уже в начале 2014 г. пригласила к участию в юбилейном сборнике и симпозиуме двух выдающихся ученых — профессора Сергея Николаева и профессора Петра Бухаркина. Оба подтвердили участие в публикации и приезд в Лодзь в 2015 г.

Однако в июле 2014 г. меня ждала неожиданная новость — я получила приглашение от профессора Бухаркина принять участие в трехдневной международной конференции, организованной Санкт-Петербургским государственным университетом совместно с университетами Грайфсвальда и Йены. Темой конференции стала классическая традиция и неклассическое искусство в русской литературе, а ее проведение было запланировано на декабрь того же года. Профессор Бухаркин анонсировал участие в ней выдающихся исследователей русской литературы из США (проф. Маркус Левитт), Германии (проф. Ульрике Екуч, проф. Андреа Майер-Фраац), Беларуси (проф. Татьяна Автухович), Украины (проф. Назар Федорак, проф. Мирослав Трофимук), а также из Санкт-Петербурга — из Государственного университета, Пушкинского Дома и Института лингвистических исследований РАН. Для меня это приглашение стало большой честью и возможностью познакомиться с такими выдающимися учеными, включая самого организатора конференции, а также с теми, кого я знала только по их публикациям (лично я знала только профессора Татьяну Автухович, которая имела давние связи с Лодзью).

Конференция проходила в прекрасном историческом здании Российской академии наук на берегу Невы, где на лестничной площадке находится мозаика, созданная самим Михаилом Ломоносовым,

которая увековечивает победу Петра I под Полтавой. В большой зале, украшенной портретами ученых, работавших в стенах этого здания, царила поистине удивительная атмосфера. Конференция оставила незабываемое впечатление. Ее харизматичный организатор профессор Бухаркин, который сразу же задал высокий научный уровень конференции, вел ее с исключительным тактом и, подчеркивая значимость каждого доклада, умело указывал на его сильные и слабые стороны и направлял живую, красноречивую научную дискуссию. Эта дискуссия вдохновляла участников, создавая пространство для спокойного, содержательного обмена мнениями, обмена опытом и установления научных контактов. Три дня, проведенные в такой научной, но одновременно дружеской атмосфере, стали для меня и других участников настоящим духовным праздником и пролетели незаметно. Результатом конференции стала монография *Blessed Heritage. The Classical Tradition and Russian Literature* (2018), изданная в серии *Opera Slavica. Neue Folge 64* (ред. П. Бухаркин, У. Екуч, Е. Матвеев) в издательстве Harrassowitz.

Краткое двухдневное пребывание профессора Бухаркина в Лодзи в 2015 г. по случаю юбилея профессора Малек стало его первой визитом в наш город, в наш университет, а также в мой дом, где в камерной атмосфере мы вместе с уважаемой юбиляршей и профессором Николаевым имели возможность побеседовать не только на научные темы, но и вспомнить прошлое, а также обсудить планы на будущее.

Именно эти разговоры привели к включению в проект Национальной программы развития гуманитарных наук, посвященной литературной культуре Лодзи до 1939 г., аспирантки профессора Бухаркина — Евгении Кретовой. Ее участие оказалось бесценным: она активно помогала нам как во время научных командировок в Петербург в 2016 и 2018 гг., так и дистанционно, проявляя искреннюю заинтересованность и поддерживая нашу работу по проекту.

В первой поездке участвовали я и мой аспирант. Мы собирали литературные и публицистические материалы из русскоязычных

газет, издававшихся в Лодзи и отправлявшихся в Петербург — столицу Российской империи — в рамках цензурных процедур, когда Лодзь находилась в ее границах. Поездка была недолгой — всего неделя, но она дала мне возможность вновь встретиться с профессором Бухаркиным, на этот раз в его прекрасной петербургской квартире. Это место, наполненное историей, семейными традициями и впечатляющей библиотекой, создало особую атмосферу для беседы. Я вновь убедилась, что профессор Бухаркин — не только выдающийся ученый, но и человек исключительной скромности, эмпатии, с тонким чувством юмора и даром вести глубокие, вдохновляющие разговоры. У меня было ощущение, что мы знакомы уже много лет — наша беседа за великолепным угощением продолжалась несколько часов. к счастью, гостиница, в которой я остановилась, находилась буквально на соседней улице.

Уже вскоре, в 2017 г., наши научные отношения принесли плоды: я написала рецензию на магистерскую работу Евгении Кретовой, посвященную творчеству Федора Эмина — писателя и переводчика XVIII в., выполненную под руководством профессора Бухаркина. В 2018 г. В лодзинском журнале «Prace Polonistyczne» под редакцией профессора Марии Виховой был опубликован научный труд профессора Бухаркина, а в 2019 г. — моя статья в сборнике «Литературная культура России XVIII века» под редакцией П. Бухаркина, изданном в Санкт-Петербурге.

В конце 2018 г. профессор Бухаркин был приглашен Институтом русской филологии филологического факультета Лодзинского университета в Лодзь на несколько недель в октябре в качестве приглашенного профессора с лекциями. Я тщательно планировала пребывание профессора и его супруги, которая должна была приехать вместе с ним, однако оказалось, что моя ранее запланированная поездка в Санкт-Петербург в рамках упомянутого выше проекта частично совпадает с пребыванием профессора Бухаркина в Лодзи, и мы не сможем встретиться в Петербурге. Мне предстояло встретить профессора в Лодзи, а уже на следующий день отправиться в его родной город. Мне было немного грустно,

но тогда я убедилась, какие замечательные сотрудники и аспиранты работают с профессором Бухаркиным. Помимо уже упомянутой Евгении Кретовой, я прежде всего имею в виду кандидата наук, бывшего аспиранта профессора Бухаркина — Евгения Матвеева, доброжелательного, тактичного и приятного молодого человека, который прекрасно организовал мою лекцию в Санкт-Петербургском университете в рамках семинара «Русский XVIII век». Семинар собрал многочисленную аудиторию студентов, аспирантов, а также моих добрых знакомых — исследователей из Санкт-Петербургского государственного университета и Отдела русской литературы XVIII века Пушкинского Дома РАН. Несмотря на отсутствие профессора Бухаркина, его команда проявила себя блестяще.

Когда я вернулась в Лодзь, профессор Бухаркин все еще находился там, и наши студенты-русисты, для которых он читал лекции, были в полном восторге от его занятий. Их восхищение вызвали личность профессора, его красноречие, стиль преподавания, умение общаться и харизма. Они настолько его полюбили, что даже отпраздновали день рождения профессора, который пришелся именно на время его пребывания в Лодзи, и еще долго после его отъезда с теплотой вспоминали занятия с этим неординарным выдающимся ученым, вызвавшим у них искреннюю симпатию. Профессора также высоко оценили сотрудники Лодзинского Института русистики, работавшие с ним, включая тогдашнего директора института — профессора Ярослава Вержбиньского.

Стоит также упомянуть о важном научном событии, которое произошло во время пребывания профессора Бухаркина в Лодзи — о его выступлении с лекцией в Первом отделении Лодзинского научного общества, где я в то время исполняла обязанности секретаря. Результатом этого научного выступления стало принятие профессора в 2019 г. в члены Общества после выполнения всех формальных требований и единогласного голосования членов Первого отделения, а затем и Правления Лодзинского научного общества.

Научные связи с Лодзью проявились также в многочисленных рецензиях, подготовленных профессором Бухаркиным для

статей, публиковавшихся в сборниках по материалам конференций, в юбилейных изданиях, а также в журнале Отдела русской литературы и культуры Института русистики «Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica».

Наши научные отношения носили двусторонний характер: я также могу с гордостью отметить, что в 2017 г. подготовила рецензию на магистерскую работу аспирантки профессора Бухаркина — Евгении Кретовой, а затем в 2020 г. — рецензию на ее кандидатскую диссертацию на тему «Ф. А. Эмин и его читатели XVIII — начала XIX века». к сожалению, пандемия нарушила мои планы поездки в Санкт-Петербург, которые незадолго до ее начала находились уже на стадии окончательной подготовки.

Еще одним непредвиденным препятствием в наших научных отношениях, как и в целом в научном сотрудничестве с Россией и нашими российскими партнерами, стала и остается война России против Украины. Все научные контакты с российскими вузами и представителями научного сообщества были официально запрещены соответствующими центральными учреждениями, и в результате этого научное сотрудничество фактически прекратилось.

В контексте произошедших событий поведение профессора Бухаркина, безусловно, свидетельствует о его мужестве, просвещенности, независимости мышления от государственной пропаганды и объективной оценке происходящего. В 2022 г. профессор Бухаркин уехал к своим близким в Берлин, оставив родной город, который он глубоко любил, и университетскую работу, которая была его страстью. В своих письмах по электронной почте ко мне и моей семье он уверял, что у него все в порядке, что он рядом с самыми близкими, но скрыть грусть, ностальгию и тоску по тому, что он оставил там, в России, было невозможно. Его сердце осталось в родном городе — вместе с воспоминаниями, любимыми местами и всем, что было ему дорого.

Вскоре за границей оказался и бывший аспирант профессора — Евгений Матвеев, который активно сотрудничает с кругом славистов из Йены. Ученые из Йены уже ранее поддерживали

тесные и плодотворные контакты с научным сообществом Санкт-Петербурга, включая профессора Бухаркина.

Мое следующее научное общение с профессором Бухаркиным состоялось не в Лодзи и не в Санкт-Петербурге, а в Йене, где в апреле 2024 г. прошел воркшоп, посвященный апофатической риторике в русской литературе. Это мероприятие было организовано в рамках научного проекта профессора А. Майер-Фраац, О. Сазончик, Е. Матвеева и профессора Бухаркина. В воркшопе приняли участие, помимо организаторов, профессор М. Вайскопф и профессор Е. Толстая из Иерусалима, профессор М. Рубинс из Лондона, профессор Б. Ланин из Познани и я. Это было поистине исключительное событие — два дня интеллектуального пира, вдохновляющих бесед, планов и воспоминаний. Результатом стала монография *Verneinung und Verschweigen. Apophatische Rhetorik in den Werken russischer romantischer Autoren, ihrer Vorgänger, Nachfolger und Antagonisten* (ред. П. Бухаркин, Е. Матвеев, А. Майер-Фраац, О. Сазончик), изданная в 2025 г. в издательстве Harrassowitz.

В том же году мы вновь встретились с профессором Бухаркиным и его супругой в начале июня в Лодзи, когда они приехали в наш город по приглашению Института русистики. Это было прекрасное время года, и наша встреча в Лодзи была наполнена рассказами, впечатлениями и прогулками по городу, встречами в ресторанах и в нашем доме. Эти моменты, проведенные в весенней Лодзи с профессором и его супругой, останутся в нашей памяти навсегда. Следует также подчеркнуть замеченное мной в личных контактах и переписке с профессором необыкновенное чувство, которое он питает к своей супруге. Оно проявляется в заботливом отношении, трогательных жестах, а также в нежной и красивой форме обращения к ней — Лидуся.

Описывая наши отношения с профессором Бухаркиным, я непременно должна упомянуть о нашей переписке и его замечательных, содержательных, эмоционально насыщенных письмах, которые являются прекрасными образцами эпистолярного мастерства — столь редкого в наше время. Отвечая на письма профессора,

я порой ощущала, что мои ответы слишком лаконичны и деловиты. Его письма, как на научные темы, так и личного характера, являются удивительным отражением наших отношений на расстоянии — отношений, которые, тем не менее, имеют вполне конкретные научные и личные последствия.

Завершая, хочу выразить надежду на наши будущие встречи — независимо от того, где они состоятся, ведь профессор Бухаркин, без сомнения, принадлежит к числу тех немногих, кто соединяет в себе и Ученого, и Человека с большой буквы.

Конспект курса истории русской литературы XVIII века, многократно читанного профессором Петром Евгеньевичем Бухаркиным в Санкт-Петербургском университете. Составлен Николаем Александровичем Гуськовым в 1995 году

Москва золотоглавая. Туманный Петроград.
Идея имперская. Упразднен майорат.
Тредьяковский латинствует.
Ломоносов фламандствует.
Молодежь вольтерьянствует,
В том не видя греха,
Кто горацианствуя,
Кто по ложам масонствуя,
Объективно способствуя
Тем реформе стиха.

Элемент инфернальности в Митрофане силен.
В идеалы античности Ломоносов влюблен.
И в российских Европиях
Все погрязли в утопиях
И хотят тип писательский
До конца изменить —
Никаноры несчастные,
Поварихи пригожие,
Друг на друга похожие
Так, что не различить!

Фантазии Лотмана.
Изыскания Сермана.
В сто пудов антологии Макогоненко том.
Работы Пумпянского,
Измышленья Чижевского,
И учебник Гуковского,
И экзамен потом…

Некоторые сведения о русской культуре осьмнадцатого столетия и не только от юношества, прибывшего в Санкт-Петербург из дальних краев, собранные и сохраненные Мариною Валерьевною Пономаревой

Любезный читатель!

Если годы своей юности ты потратил на приумножение знаний, ты, верно, помнишь, как непросто порой дается учение молодому человеку, стремящемуся преуспеть в науках и искусствах. Увы, не каждому суждено пройти тернистый путь освоения наук до конца, не каждому фортуна благоволит в обретении мудрого наставника… Тем большее уважение мы питаем к тем юношам и девам, которые достигли своей заветной цели и несут теперь свет просвещения из Петербургского университета по всему миру. Другим же дорогим нашему сердцу студентам мы благодарны за глубокие чувства и счастливые воспоминания, оставшиеся по ним. С какой щедростью делились они с наставниками своими познаниями, поражая их новыми сведениями о литературе и искусстве!.. Приобщись же и ты к ним, любезный читатель, — говорят, это чтение продлевает жизнь!..

М. П.

Вопрос: Что такое европеизация?

Ответ: Есть старый культуры и много ум.

«Барокко — эпический стиль искусства в Европе с 1600 по 1750 год. Произведено в Италии».

«Петр I. Это — кумир поэта. Он был очень опечален своей смертью».

«Российский классицизм имеет отличительные черты европейского классицизма, которые отличаются от европейских классических черт».

— Я точно знаю, что в XVIII веке в Европе была комиссия, следившая за соблюдением норм классицизма.

— Что же делали с теми, кто не соблюдал норм?

— Им было очень плохо.

Вопрос: Назовите писателей середины XVIII века.

Ответ: Василий Иванович, Иван Иванович, М. В. Ломоносов.

Новые факты из жизни Г. Р. Державина:

«Державин родился в 1703, умер в 1742 году, он воспевал Елизавету… Третью».

«Чтение книг, грязные стихи, отсутствие денег помогли Державину продвигать военную службу».

«Он создал поэтическую модель сатирических колядок, например, “Властителям и судиям”».

«Это был не только надгробный камень писателя, но и надгробный камень всей русской литературы».

«Строфа — это что-то между жанром и стилем».

«Метафора употребляется только в тех языках, которые различают долгие и краткие гласные».

«Украинский князь Константин первый задумался об образовании и позвал Ивана Федорова, который создал Библию на латинском языке».

Из выпускного сочинения:

«В XVIII в. русская литература только начала формироваться, и образ студента еще не был полностью разработан. Однако в произведениях того времени проявляются черты и особенности этого образа, как, например, в творчестве Дениса Фонвизина и Александра Радищева. Одним из самых известных произведений, где присутствует образ студента, является роман Дениса Фонвизи-

на “Бригадир”. В этом произведении автор рассказывает о жизни студентов Московского университета конца XVIII в. Главный герой, студент Алеша, предстает перед нами как молодой человек, полный энтузиазма и стремления к знаниям. Он увлечен наукой, активно участвует в университетских дебатах и спорах. Однако роман также показывает и другую сторону студенческой жизни — проблемы с финансами, непостоянство и легкомыслие молодых людей. В результате Алеша оказывается вовлеченным в сомнительные дела и сталкивается с неприятностями».

В завершение письменного пересказа ученого труда:
«Сверхъестественная сила также добавлена к статье».

Из плана научной работы:
«Задача диссертации — показать, что все вместе мы можем победить лису».

Профессору Петру Евгеньевичу Бухаркину при публичном чествовании высокоторжественного дня его шестидесятилетия в осень 2015 октября месяца 19 дня. На голос песни Булата Окуджавы положена Николаем Александровичем Гуськовым

Сумерки культуры. Надрывают сердце вопли мракобесов,
Но на семинарий каждую неделю шествует профессор
С хитрою улыбкой, светлою душою, черной бородою,
Путь он совершает Петроградской стороной своей родною.

В университете собрались коллеги разных поколений,
От общенья с ним привычно ожидая новых впечатлений.
Больше всех студентов, меньше всех доцентов, есть и аспиранты,
Он острит их мысли, расширяет знанья, пестует таланты.

Он открыл для них врата другим совсем неведомого мира:
Вздохов карамзинских, пышного барокко, стройного ампира, —
И занятья этим им на факультете всех иных дороже,
Сами же похожи стали на собратий из масонской ложи.

Протекали годы, бороду сребрили мудрой сединою,
А в портфеле оды гордые парили вслед за тишиною.
Строгое витийство — вовсе не препятство для эпикурейства,
Но горацианство дружный семинарий стережет от пьянства.

Все звучней напевы прежних клавесинов и былых поэтов,
Шествует профессор мимо мракобесов, мимо их клевретов,
И ему от Львова до Невы, Берлина, Грайфсвальда и Йены
Изъявить почтенье резво поспешают толпами Камены.

A PETRO PERMOTI:
ПРОФЕССОРУ ПЕТРУ ЕВГЕНЬЕВИЧУ БУХАРКИНУ
КО ДНЮ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЯ

Ответственные редакторы:
Н. А. Гуськов, Е. М. Матвеев, М. В. Пономарева

Компьютерная вертка: *Е. Е. Кузьмина*

Подписано в печать 20.09.2025. Формат 60×84 1/16.
Печ. л. 10,25. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии «Своего издательства»
Санкт-Петербург, Лиговский пр., 53
Тел.: (812) 900-21-45